П. ЖУРБА

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ

Детгиз · 1951

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

П. ЖУРБА

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ

Повесть

6198
МЕТОД. КАБИНЕТ
343-й школы БОНО
гор. МОСКВЫ

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1951 Ленинград

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Алмазная гора 5
Глава II. Почему цветет мак 9
Глава III. Днепровские огни 18
Глава IV. Крутые повороты 22
Глава V. Новая семья 27
Глава VI. Пути к звездам 43
Глава VII. «Трудно, но интересно» 54
Глава VIII. «Только вперед!» 66
Глава IX. Урок истории 70
Глава X. Война 77
Глава XI. Учительница Лидия Власьевна 84
Глава XII. Дружба 88
Глава XIII. Закалка 92
Глава XIV. Лина 101
Глава XV. Родина зовет 111
Глава XVI. Военно-пехотное училище 114
Глава XVII. На фронт 123
Глава XVIII. Фили 130
Глава XIX. Нужны самые смелые 135
Глава XX. Фронтовые будни 149
Глава XXI. Комсомольцы 157
Глава XXII. На марше 162
Глава XXIII. Беженцы 171
Глава XXIV. Кто настоящий друг 177
Глава XXV. Письма 188
Глава XXVI. В разведке 194
Глава XXVII. Большой Ломоватый бор 201
Глава XXVIII. Слово-клятва 206
Глава XXIX. Бой за Черную рощу 212
Глава XXX. Спасти комбата 218
Глава XXXI. За Родину! За Сталина! 223
Глава XXXII. Матросовцы 236

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

И. Сталин

Глава I

АЛМАЗНАЯ ГОРА

Скорый поезд «Москва — Севастополь» остановился утром на станции Запорожье.

Веселые пассажиры, едущие на крымские курорты, сразу заполнили перрон.

В ящике под вагоном чуть приоткрылась дверца. Никто не подозревал, что в этом тесном ящике может быть пассажир. Сначала показались всклокоченные волосы, потом высунулось черное, как у негра, запыленное лицо оборвыша, настороженно блеснули голубые глаза.

Оглядевшись, он быстро выпрыгнул из ящика и юркнул под вагон. Рукавом мазнул по лицу, стирая пыль, но лицо чище не стало. Только с запыленных ресниц пыль меньше лезла в глаза.

Он подошел к ящику следующего вагона и тихо окликнул:

— Тимошка, живой?

— Та живой, — раздался тонкий голос из ящика. — Только дышать нечем. В глотку пылюга набилась. Пить дай, Сашка!

— Ладно, принесу. Не вылазь, а то отстанем.

Саша выбрался из-под вагона, отряхнул одежду от пыли и, щуря на солнце глаза, пошел искать воду. Ночью посадил он в ящик дружка и считал себя ответственным за его удобства и благополучие. Жалобу Тимошки он принял равнодушно. Он и сам задыхался в дороге от пыли в этом проклятом ящике, глаза на лоб лезли от страшного грохота колес и тряски. Вихрь, бу-

шующий под вагоном, казалось, вот-вот сорвет его и бросит на рельсы. Что поделаешь? Надо же терпеть и некоторые неудобства, если мечтаешь чуть ли не о кругосветном путешествии!

Лето кончалось. Не за горами — зима, и маленькие друзья решили ехать в теплый Крым. Но легко сказать — решили! У них не было ни гроша.

Родился Саша в Днепропетровске, рано осиротел. Отца, рабочего металлургического завода, кулаки убили в глухом степном селе за то, что отец, по призыву партии, помогал крестьянам в коллективизации. Через два года умерла и мать. Саша остался с бабусей. Много сказок знала бабушка, ходила с ним смотреть на Днепр, рассказывала про деда — бывалого днепровского лоцмана, как умела, следила за его учебой в школе. Потом умерла и она.

Где-то на Урале будто была еще тетя, но Саша никогда ее не видел. Мальчика приютили соседи. Они собирались отдать его в детский дом.

Саша страстно мечтал о путешествиях. Он уже много слышал и читал о мужественных людях, которые открывали новые, неизвестные земли. Ему самому хотелось подняться на заоблачные вершины Кавказа, Памира, увидеть горные озера и пустыню Кара-Кум, океанские пароходы и непроходимые джунгли. Пылкое детское воображение влекло его к неведомым приключениям и подвигам.

Вскоре после смерти бабушки Саша встретился с Тимошкой Щукиным. Веснушчатый, с огненно-рыжей головой, совсем невзрачный, но юркий, как вьюн, Тимошка был такой, что с ним не пропадешь. Отчаянно сверкая глазами, он с таким увлечением рассказывал Саше о таинственной Алмазной горе где-то на Памире, что у мальчика дух захватывало.

— Я знаю тайную дорогу к этой Алмазной горе! Дедушка мой всё мне рассказал! В пещере той горы так много драгоценных камней, что люди, как только зажигают свет, сразу же слепнут от блеска камней-самоцветов. Но мне дед рассказал, какой надо водой умыться, чтобы не ослепнуть в пещере... Наберем драгоценностей, сколько захотим, и привезем в Москву... Мы отдадим камни правительству и расскажем про Алмазную гору. Все газеты про нас напишут, портреты напеча-

тают! Ученые нас станут брать с собой в дальние путешествия. Тогда всюду побываем. . .

Но Саша был всего только мальчик-сирота, а не знаменитый следопыт. . . Он не знал, как начать заманчивое путешествие к Алмазной горе и чем питаться в пути, чтобы не умереть с голоду. Да и милиционер мог задержать его на любой станции.

Вместе со своим приятелем Саша всё-таки покинул родной город. Так началось их бродяжничество.

Озираясь по сторонам, мальчик шел по перрону и жадно вдыхал свежий воздух. Всё его тело, избитое о стенки тесного ящика, болело. Во рту было сухо и горько. Язык от пыли шершав, как суконка. Наслаждаясь чистым воздухом и думая о своем трудном путешествии, он шел по перрону, не обращая внимания на людей.

Внезапно его окликнули:

— Саша, ты?

Он обернулся и растерялся. К нему подошла смуглая девочка — Люда Чижова, с которой он дружил, когда был у бабуси. Люда жила в соседней квартире, и они часто вместе играли, рисовали. Она обрадовалась встрече. Ей всегда нравился этот прямой, бесхитростный хлопчик. Блеснули ее черные, как спелые вишни, глаза.

— Ой, Сашечка, чего ж ты стал такой! . . — начала она и запнулась.

Но Саша понял по ее взгляду: «грязный», — хотела она сказать.

Он небрежно взглянул на ее белоснежную блузку, на шелковый алый галстук.

Неприятна была ему эта нежданная встреча. Только посмеется над ним разнаряженная эта девчонка! Сгорая от стыда и боясь привлечь внимание милиционера, он хотел убежать, но Люда спросила:

— Ты, может, есть хочешь? — И она протянула большую грушу-медовку. — Бери!

От голода и приятного запаха груши у него заныло в желудке, но мальчик отвернулся:

— Отстань, я не голодный. Я пирожными, может, объелся!

— А я круглая отличница, — похвасталась Люда, — и еду с ребятами в Артек. А ты не отличник?

Сашу даже передернуло от ее слов. Отличник! Дев-

чонка явно издевается! Сдерживая готовые брызнуть злые слезы, он гордо выпрямился:

— Езжай себе в Артек да не суйся не в свое дело!

Вдруг по перрону стрелой промчался такой же испачканный, как Саша, малыш, крича на бегу:

— Утекай!

Саша увидел, как милиционер и проводник открывали ящики под вагонами, и тоже побежал, крикнув:

— Тимошка, вылезай!

Но было поздно.

Прозвенел станционный колокол. Люди поспешили в вагоны. Поезд тронулся. Саша из-за пакгауза смотрел на уходящий состав, и сердце его сжималось от досады: отстал! Что же с Тимошкой? Уехал он или его поймали милиционеры?

На станцию возвращаться Саша боялся — поймают. Там одного беспризорного милиционеры уже задержали.

Куда теперь итти голодному Саше, вольному, как ветер? Тут, видно, беспризорникам не житье. Даже тошнит от голода! Не пойти ли в ближайшее село? Там скорее подадут что-нибудь. Или в огороде, в саду поживиться можно будет.

Он вышел за город и побрел по берегу Днепра.

Глава II

ПОЧЕМУ ЦВЕТЕТ МАК

Мальчик шел, не зная куда. Город остался далеко позади. Голубая ширь Днепра была почти недвижна. Только вспыхивали сверкающие блики. Тропка тянулась по берегу реки, то изрытому буераками, то поросшему колючей дерезой, кустарниками. На курганах лениво кивали белые султаны ковыля. Порой ветерок нес запахи истомленных зноем чебреца, шалфея и полыни. Иногда открывалась бескрайная степь, уходящая в белесую, дрожащую мглу горизонта. Саша раньше часто мечтал о бескрайных степных просторах, где когда-то запорожцы, как буря, проносились на своих выносливых конях. А теперь грустно и одиноко было мальчику в этом степном раздолье. Он с тоской думал о Тимошке и о том, как ему теперь быть.

Накаленная солнцем земля жгла босые ноги. Он несколько раз припадал к студеным криницам, [1] вырытым на берегу Днепра, видно, пастухами, и жадно пил.

Будто еще острее стал томить голод. Он попробовал есть травы. Наиболее съедобными были стебли купыря, козельца, листья конского щавеля. Но теперь, в конце лета, стебли купыря и козельца были жестки, как веревка, а конский щавель — шершав и горек.

С далеких полей доносился рокот комбайнов, косилок, слышались веселые голоса колхозников. Но Саша обходил людей: они обливаются по́том, трудятся, и

[1] Криница — родник, колодец.

стыдно у них попрошайничать. Да и не любят они шатающихся бездельников, особенно в горячую пору полевой страды. Не вернуться ли ему в город?

Из-за косогора вдруг открылся большой сад. Он широкой полосой тянулся вдоль Днепра. Истомленный мальчик обрадовался и торопливо побежал к саду. У глубокого рва остановился, посмотрел в сад сквозь густые кусты боярышника и замер от изумления. Перед ним открылось вдруг такое сказочное диво, что с минуту он стоял с открытым ртом, как вкопанный. Рябило в глазах от множества яблок, груш, слив. Отягченные крупными румяными плодами зеленые ветки клонились до земли. Из сада несло прохладой и запахами груш, яблок, дынь, меда.

Он прислушался. Тихо. Только жужжали пчелы, стрекотали кузнечики да изредка глухо стукали о землю упавшие яблоки. Не в силах больше терпеть, Саша протиснулся сквозь густую колючую ограду из кустов боярышника и оказался в саду. Впопыхах он схватил с земли яблоко, стал жевать. Оно было червивое. Он тряхнул дерево — и с десяток больших груш с желтыми подрумяненными боками упали в скошенную траву. Торопясь, он жадно ел сочные, сладкие плоды и совал их за пазуху.

— Стой, а то стрелять буду! — вдруг раздался строгий возглас.

Седобородый дед в длинной холщевой рубахе и в соломенной широкополой шляпе — бриле стоял шагах в двадцати, направив ружье на мальчика.

— Чей ты? — спросил дед.

— Ничей.

— Брешешь! Знаю вас! Батько и маты есть?

— Нет. Я сам себе хозяин.

Дед удивился:

— Ого, якый хозяин! А чего не плачешь?

— Не умею... Пустите, дидуся. Я есть хочу.

— Ну, не растабарывай тут! Иди вон туда, до куреня. А я за тобою. Ты арештованный, — понятно?

— Дидуся, — осмелел Саша, видя дряхлость деда, — пустите, а то всё одно утеку!

— Будешь тикать — стрельну! Чуешь, хлопче?

— А как не буду тикать?

Деду понравился этот смелый хлопчик, и жалость

к нему тронула стариковское сердце: «Он же голодный, мабуть,[1] як цуцык».[2]

У деда была неутолимая страсть: ему всегда хотелось с кем-нибудь говорить о своем новом, восторженном чувстве, обретенном на старости, а говорить было не с кем. Колхозники давно отвыкли удивляться тому, что́ волновало деда. А с этим бездомным хлопцем можно наговориться вволю.

— Слухай, хлопче, не будешь тикать — накормлю тебя медом, дынями сладкими и всем, що сам тут бачишь. Нам не жалко. У нас всего вдосталь. Тильки воров, як тех паразитов и трутней, снистожаем... Иди до куреня.

— После того как накормите, чего со мной сделаете? Правда, отпустите?

— Погомоню и отпущу. Верь совести — отпущу. А захочешь — заночуешь тут. Распалим костер, сказку расскажу. А зовут меня дед Макар.

Саша колебался. Не задумал ли дед отправить его в детский дом? Но есть хотелось мальчику нестерпимо. Он пошел под конвоем деда, жадно глядя по сторонам на обилие фруктов в саду.

В курене на сене лежали кучи яблок, груш, кавуны,[3] большая надрезанная дыня с толстой, сочной розоватой мякотью. Пчелы вились вокруг покрытого рушником[4] глечика,[5] видно, с медом. Запахи всего этого кружили голову.

Дед достал из подвешенной торбы белый пшеничный хлеб, кусок сала, завернутый в капустный лист, и пир начался. Дед, и правда, клал на разостланный на сене рушник перед мальчиком разные фрукты, овощи. Нашлись у деда в макитре[6] и жареные лини да караси, а в миске — белые пухлые пампушки и прочая вкусная снедь.

Выставил он и глечики: один — с медом, другой — с фруктовым соком. Мед — янтарно-золотой, пахучий и прозрачный, какого Саша еще не видал.

---

[1] Мабуть — вероятно.
[2] Цуцык — собачонка.
[3] Кавуны — арбузы.
[4] Рушник — полотенце.
[5] Глечик — кувшин.
[6] Макитра — большой расписной горшок.

— Ешь, ешь, хлопче, на здоровье, — всё подсовывал дед ему. — Бачу, драный ты, як та сидорова коза. Може, и добра ты от чоловика еще не знал? Я, мабуть, сто годов несчитанных прожил и знаю: жить надо так, щоб людям легче было от того, що ты живешь; чуешь, Сашко? А ты красть хочешь. Тоже мени вор-горобец. По совести жить надо. Совесть — око народа; вот и служи народу по совести. Чуешь, Сашко?

— Чую, дидуся, — отвечал мальчик. — Чую... чтоб людям легче было, что ты живешь.

— Так добре ж запомни ци слова. На них свет держится. За них люди на смерть шли.

— Запомню, дидуся.

— Ну и добре, серденько... А пить квас будешь чи молоко? В кринице кубышку держу. Там родники, як лед. А може, винограду гроздочку поспелей найдешь в саду.

Саша так насытился, что не мог подняться. Склонился на пахучее сено и, вдыхая различные запахи — фруктов, мяты, шалфея, душицы, — с удивлением смотрел в залитый солнцем сад. Всё здесь было необычно и красиво, как в сказке. Тихо — не шевелился ни один листик. Слышно даже, как вдали изредка падали на землю тяжелые, спелые яблоки. В темнозеленой листве так много краснело яблок, что, казалось, их нарочно так густо навешали.

А вон села на ветку долгоносая птица, играя на солнце своим пестрым красивым оперением.

— Как жар-птица, — прошептал Саша, боясь спугнуть ее.

— Первый мой лютый ворог, — покосился на птицу дед. — Щур. Пчел жре.

А в зелени ветвистой груши мелькала золотисто-желтая птица и лениво вскрикивала порой, будто по-человечьи что-то спрашивала.

Дед передразнил птицу:

— «Де я його дила? Де я його дила?» Потеряла, так и шукай, хитрая птаха-иволга, и нечего самые сладкие груши клевать!

Где-то на высоком яворе[1] дремотно ворковал дикий голубь: «Ва-вва-уррр, ва-вва-урр!» И ему, видно, го-

[1] Явор — пирамидальный тополь.

лубка отвечала: «Угу-у-у, угу-у-у!» На кого-то посвистывала синица-пастушок: «Фить, фить, фить».

— А цветы, цветы какие! — говорил Саша, еле успевая осмыслить новые впечатления.

Дед степенно называл ему цветы: чернобривцы, пивники, панычи, горицвет, золототысячник.

— Дивчата насадили. Кажуть, нехай, диду, и коло куреня квитки,[1] щоб и вы радовались. То-то глупые... Хиба моя радость тильки коло куреня? Моя радость безмежна, як степь, як небо.

И беспокойный Саша уже просил деда, с радостным удивлением глядя ему в глаза:

— Дидуся, а какую ж сказку вы знаете? Расскажите.

— Знаю, — усмехнулся дед. — Та, бачу, ты до всего жадный. Зараз не маю часу.[2] На пасеку надо. А одну маленьку можу рассказать.

Он подвинулся в тень под грушу, снял соломенный брыль, пригладил редкие седые волосы на голове, точно готовясь к чему-то торжественному.

— Бач, як мы живем? Сами мы земельку распушили и сад насадили. И всего теперь у нас в колгоспе вдосталь. И чоловик стал добрей. А раньше як жили? Паны да кулаки душили хлебороба за кусок хлеба. Спина моя ще доси болить с того часу, як у пана надорвался. Очи мои щи доси подслеповати с того часу, як дым их ел в курной хати. Каганцем[3] и лучиною освещались, да и за нею в другую губернию ходили. А теперь у нас в кажной хати элетро и радио, а в клуби, як солнце, лустры сияють.

Дед указал на яблоньку, облепленную краснобокими яблоками. Подпорки, казалось, держали пышную красавицу под руки и не могли удержать: гнулись под тяжестью ее сочных плодов.

— По-мичурински саженец выходил и прививку сделал, и ось дывысь, що робится, — яблок сила-силуща. Так мы ж скоро засыплем увесь мир фруктою разною да пшеницею, як будем робить по-мичурински. Так ты слухай, Сашко. Було на свете богато царей, князей, панов и всяких там закордонных богачей. А ить мы счастли-

[1] Квитки — цветы.
[2] Зараз не маю часу — сейчас не имею времени.
[3] Каганец — плошка, светильник.

вей, чем те цари, князья и богачи. Верь совести, счастливей. А все через що? Ты знаешь, хлопче, от чого у поли мак цвите?

— Не, дидуся, не знаю.

— Слухай, Сашко. Та добре слухай!

Дед расчесал заскорузлыми пальцами белую, как ковыль, бороду, задумчиво посмотрел в сад, пронизанный лучами солнца. Было тихо, — только дремотно жужжали пчелы.

— Был колись на свете такой чоловик — Данько. Страшно бедовал народ от панов-помещиков. Всему хозяин был пан, а простой чоловик, хлебороб, рабом у него был, дни и ночи, всю жизнь работал на пана, а сам с голоду опухал. И степь широкая — глазом не охватишь, а трудящий чоловик жил, як в тюрьме. Так вот той Данько и стал учить людей, як им царей и панов скинуть и волю та землю получить. И люди стали объединяться, подниматься на борьбу.

— То запорожцы были, дидуся?

— Мовчи. Слухай... Данька, известно, паны в тюрьму посадили, долго мучили его и требували, щоб он отрекся от народа, от правды народной. А Данько на своем стоял. И повели его за народ — на казнь. Ведут по степям зеленым та пахучим. Пташки разные под солнцем грают. А на теле Данька раны горят. Чуешь, Сашко?

— Чую, дидуся.

— И в останний час ему говорят паны: «Отрекись от народа — мы сделаем тебя богатым. Жить будешь в золоченых чертогах. Земель и мужиков тебе дадим богато. Всю жизнь в царском довольстве проживешь и николи горя не узнаешь».

А Данько на своем стоит: «Ни, — говорит, — не отрекусь от моего народа. Краше смерть за народ приму, а воли он сам теперь добьется, раз познал свою правду и силу».

И с лютою злобою заревели паны: «Больней бейте его! Огнем палите!»

Тут не стерпела, заплакала Данькова мать: «Паны-злодеи убьют тебя, сыночек!»

А Данько отозвался: «Не плачьте, мамо. Вы ж сами учили меня любить народ и жить по правде. А правда — сильней смерти».

И от слов таких зашаталася мать, як та калина от бури. И коли стала падать, люди подхватили ее под руки, сказали ей: «Спасибо тебе, добрая мать, що такого сына вскормила и взрастила на счастье народа». И мать поняла: не плакать, а гордиться ей надо таким сыном.

И повели паны Данька по степи на казнь, и плетюгами стальными стегали, рвали его тело белое. А Данько всё шел и шел. И голову поднял высоко, будто глядел за горы, за тучи.

Кровь его на землю часто-часто капае — кап-кап-кап. И где падала капля его крови, там и мак расцветал, такой же красный, як та кровь. Вот с тех пор и зачал цвести на полях мак, щоб люди не забували Данька. Так-то, хлопче...

Саша, сдвинув тонкие изогнутые брови, зачарованно молчал.

Вспомнил и он свою мать. Вот будто как во сне: тихо положила свою руку на его голову, нежно погладила: «Баю-баю, баю-бай! Тише, ветры, не шумите и Сашеньку не будите»...

Он устремил ясные, внимательные глаза на деда:

— Дидуся, дидуся, а дальше что?

Дед Макар, очнувшись, повернулся к нему, шевельнул белыми усами, приподнял нависшие и тоже седые брови. Глаза его по-детски блеснули:

— Вся, сынку, сказка.

— Ой, до чего ж хорошая сказка, дидуся! На всю жизнь ее запомню. Верьте совести, запомню! — И Саша быстро вытер глаза.

Дед ласково взглянул в эти пытливые голубые глаза.

— Эге, хлопче, а сказал, — плакать не умеешь.

— Я не плачу, я веселый, дидуся... Так хорошо про него сказано: и плетюгами стальными стегали, рвали его тело белое, а он всё шел и голову поднял высоко... И я бы вот так же, как Данько, всё шел бы и шел... А как дальше, дидуся?

И мальчик всё допытывался, повторяя слово за словом всю сказку. Потом дед поднялся и сказал:

— Ну, добре. А теперь, хлопче, иди до Днепра, вымойся там, одежу свою помой. И где ж ты тильки так замурзался? Иди и скорей вертайся, — чуешь?

Саша точно от сна опомнился, удивился:

— Отпускаете?.. А как утеку?

— Ежели ты чоловик, а не хорь, то вернешься... Чи як?

Саша задумался. Потом сказал:

— Вернусь, дидуся. Верьте совести, вернусь!

Он подхватывал понравившиеся ему слова, поговорки, запоминал поступки людей и подражал им. Теперь ему понравились дедовы слова: «верь совести».

— Верю совести, — ответил дед. — Бери ось тутечки мыло. Иди. — И сам, не оглядываясь, пошел на пасеку.

Саша постоял с минуту, глядя деду вслед, вздохнул:

«Ну и чудной же этот дед Макар! К Днепру отпустил. Да я ж могу сразу убежать!»

Отяжелевший от сытного угощения, он медленно пошел к Днепру.

Но тут же Саша увидел близ куреня маленький круглый столик, на котором что-то блестело.

— Часы, — прошептал он, еле переводя дыхание и глядя на большие старинные серебряные часы. Еще на столике торчала стрелка и вокруг нее — цифры. Он догадался: солнечные часы. Дед, видно, сверял с ними свои карманные — и позабыл. Саша вздрогнул от невольной мысли, быстро оглянулся, и у него даже в глазах помутилось: у куреня стояло ружье, прислоненное дулом к стволу груши.

Саша заколебался. Часы и ружье! Только представить себе, что он, Саша, сможет совершить, обладая этим! Можно в лесу жить одному и охотиться на дичь. Можно...

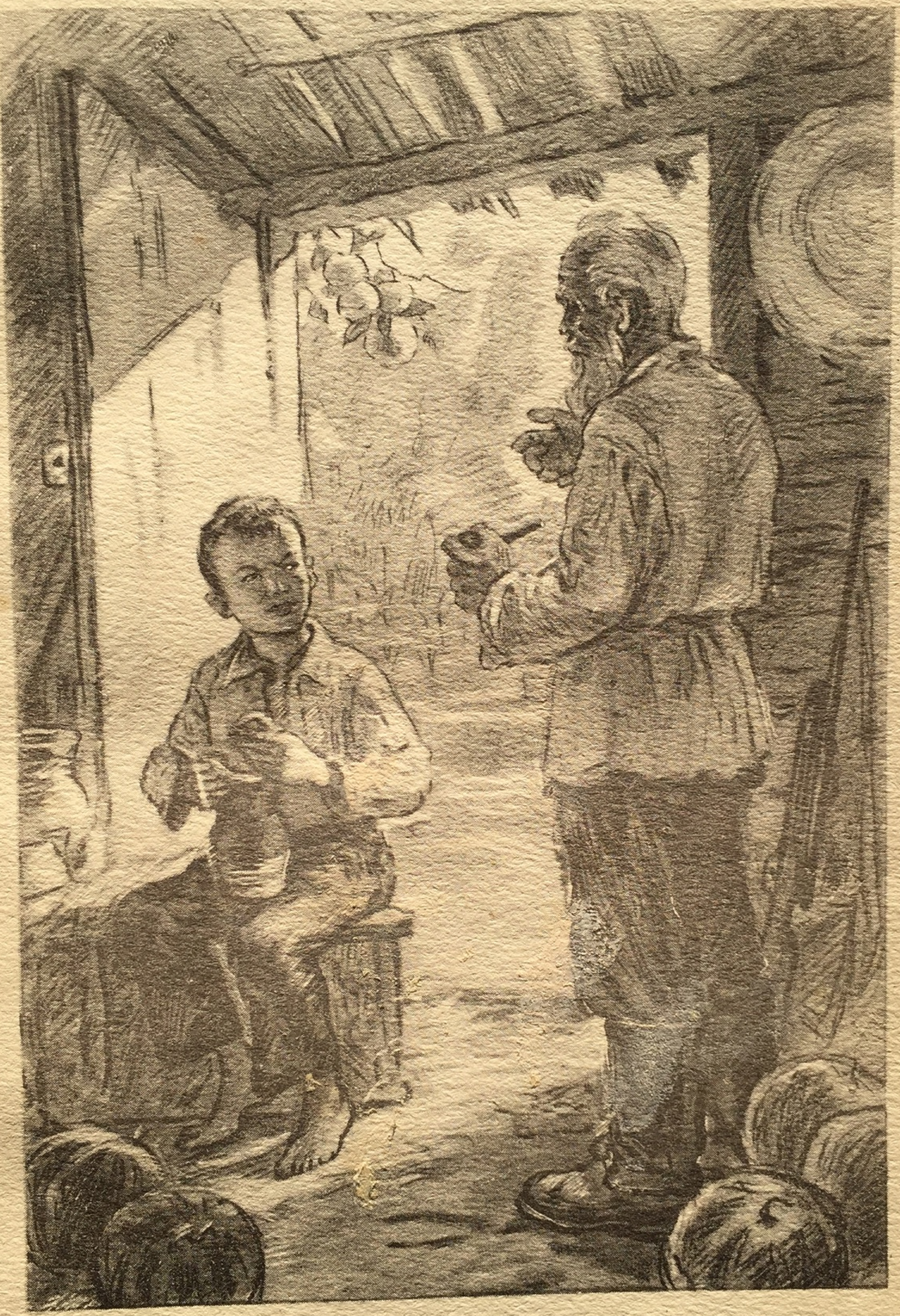
Он схватил часы. Они будто ожгли его руку.

«Верю совести», — вспомнил он последние слова деда. Того деда Макара, кто так добродушно и щедро накормил его, лаской согрел его сердце.

С минуту он стоял, будто прирос к земле. Две силы боролись в нем. Потом он быстро, как раскаленный уголь, положил часы на стол и побежал, сгорая от стыда и будто убегая от самого себя.

Он торопливо купался и стирал одежду в Днепре, боясь, чтоб дед не подумал, что он сбежал. Потом, в сырой еще майке и веревочкой подвязанных штанишках, подошел к деду, чистый, веселый:

— Диду, что вам помочь делать?



К стр. 12

— Помогай, — сказал дед. — Сбегай, шугни галок на винограднике. Ще и не поспел виноград, а клятая птица шкодыть.

До вечера Саша помогал деду: крутил медогонку, выкачивая мед, собирал по саду упавшие груши и яблоки.

Когда дед решил разжечь костер, чтобы сварить кулеш, и не мог найти спички, Саша протянул ему свой кремень и трут.

Дед рассмеялся:

— Техника твоя — курам на смех. При царе Горохе ще ею пользовались. У нас Днипрогэс рядом, а ты мне трут даешь. И рук марать не стану. Пошарь там в курене на полочке серники.

кабинет
343-й школы БОНО
гор. Москвы

Глава III

ДНЕПРОВСКИЕ ОГНИ

Вечером они обходили сад. Саша вертел трещотку, рассыпавшую в тишине дробь, как пулемет. Дед рассказывал о повадках птицы и зверя. И чем больше над садом сгущалась темнота, тем ярче разгоралось на юге над Днепром зарево.

— То пожар какой, дидуся?

— Ни, то Днипрогэс. — И дед вдруг оживился. — Ой, хлопче, такие, такие чудеса я там бачив, що и думкою не постигну! Як ввели мене в называемый зал пульта, откудова инженеры управляют всем Днипрогэсом, я и обомлел. Подо мною и надо мною и кругом всё блещить, аж глазам больно. Снял я шапку и кажу: тут, кажу, краше и чище любого чертога и храма! А инженер смеется: «це, — каже, — дидуся, и есть храм науки». И кругом горять лампочки, лампочки, малюсеньки, як совиный глаз, красные, зеленые, желтые. Под водою там, в железобетонных каморах, крутятся разные машины, а лампочки всё-всё говорят про них. Такое уже там, хлопче, устройство: поверни рогулечку одним мизинцем — и внизу загудят, загуркотят страшенные машины. Днипрова сила гоняе поезда, за сотни верст на заводах круте станки, варе сталь, дае свет городам и селам. А ты бачив на полях электроплуги? Без вола, без коня — сам плуг паше. Во сказка! А там в ящичке Днипрова сила, она и тягне. И чего ще додумались — коров электричеством доить... Бачь, як раз-

добрився старый Днипро: всю силу свою чоловику дае! Так-то, Сашко.

Дед рад собеседнику. Чувствуя близкий конец своей жизни, дед тем горячее любил всё, что было в ней нового, а новое — в людях, в их делах — возникало каждый день. Душа его переполнялась восторженным чувством. Ему хотелось говорить с кем-нибудь. Иногда он даже говорил сам с собой. Или заговаривал с деревом: «Растешь, яблонько? Расти, расти, та будь щедрая».

Они сели на траву. Дед охотно рассказывал Саше о дивах, рожденных Днепрогэсом, о мичуринских саженцах и прививках, о саде, который сам сажал.

— Та кто ще мае такой сад, як наш колгосп «Червоный партизан»? Ить в нашем же саду всё есть! А це ж мы годив за восемь такого дива добились. А через десять, двадцать годив якая жизнь стане?

— Дидуся, а может человек такую машину построить, чтоб управляла тучами и ветрами?

— Ишь ты куда стребнул! — удивился дед. — Все вы такие, молодые. Всё вам знать и уметь хочется. Есть у мене внучек вроде тебе. Петриком звать. Тоже всё допытывается, як ты.

— Петрик?

— Ну да, Петро Антощенко. В газете про него писали. Больше всех пионеров колосков насбирал. Так, говоришь, управлять тучами и ветрами? — И, подумав, ответил: — Эге, хлопче, може чоловик управлять усем. Чоловик усе може... И мени, Сашко, умирать не хочется. Ой, не хочется!.. Життя такое пошло — дивуюсь не надивуюсь. Знаю я одного хлебороба — Дениса Лысенко. Так себе хлебороб — миллионы у нас таких. Так сын его Трохим академиком стал и на весь свет прославился, — чуешь? А бывшая панская батрачка наша Марыся Недоля членом правительства стала. Та що там казать!.. Наша учителька Василина Игнатовна в реестрик записуе знатных людей, що з народу вышли. И скольки ж их таких, як той Трохим чи Марыся! Так я слухаю-слухаю про наших людей и гордый становлюсь. Чуешь, в якую силу входим? Та ты, хлопче, ще ничего и не разумеешь.

— Нет, разумею, дидуся.

— Главное що? Чоловик становится краше и сильнее. К примеру, бедняк раньше всю жизнь свою бился

из-за куска хлеба. И мы на панов бывало раньше робили так, що глаза на лоб лезли, а хвалы за то не було, та ще и урядники та стражники по зубам били. И черно було на душе. А зараз куды ни глянь — хозяин ты всему и радый всему. Так-то, хлопче. А скольки дива в садах буде годов через десять, если так будем робить, як Мичурин каже!

Саша задумался о знатных людях из народа. Потом сказал деду, что и он знатного роду. Бабушка рассказывала ему, что его прадед Матросов был тут на Запорожье лучшим новокодацким лоцманом. Он искусно проводил суда через все пороги, даже через самый страшный порог Ненасытец, где кипящие и ревущие буруны вдребезги, в щепы разбивали корабли о гранитные скалы.

Хороший был прадед. Сильный, как богатырь. И дело свое хорошо знал. Хозяином Днепра люди звали его. От него и фамилия их началась. И еще был знатный Матросов, который в 1905 году совместно с Матюшенко поднимал восстание на броненосце «Потемкин». И его постигла та же доля, что и прадеда, — на каторге замучили. Что ж, и он, Саша, может стать знатным человеком и добиться того, о чем говорит дед Макар.

— А я вот, дидуся, очень-очень хочу путешествовать. Вы слышали про Тибет? А про Алмазную гору слышали? Нет? И на Кавказе и в Крыму не были? Нет? А я вот хотел попутешествовать, хотел и... потерялся.

— Потерялся? — усмехнулся дед. — Ты чоловик, а не иголка. У нас чоловику неможно потеряться... Ишь, путешественник! Перекати-поле ты, а не путешественник. А как будешь учиться и старших слухать, станешь и ты знатным чоловиком. Будь тильки, як Данько, смелый и честный. Эге, таким будь!

По темным, точно бархатом покрытым берегам широкой реки — сверкающая россыпь огней. Там — невидимые теперь села, куда тоже вошла сила Днепра. Местами по реке струились золотисто-голубоватые полосы. От реки тянуло прохладой.

Кругом тихо, тихо. Только всё еще дремотно стрекотали кузнечики да вскрикивали в полях перепела и чибисы у реки.

Вдруг над рекой поплыла песня, широкая, как Днепр:

Солнце низенько, вечир близенько,
Спишу до тебе, лечу до тебе,
Мое серденько.

Дед усмехнулся:

— На човнах от стану до села плывут дивчата и хлопцы. Не хочуть, ленивые, пишечком по пыльной дорози — так на човнах. . Ну, пойдем, внучек, до куреня. Костерок растопим, повечеряем, да и спатоньки в курене на сене ляжешь. Укрою тебя кожухом, мягенько, тепло буде.

Саша задумчиво смотрел на Днепр. В мутном лунном свете челны плыли, как цветочные островки. У дивчат в руках были целые охапки цветов и на головах — венки. Потом он взглянул на бесконечную звездную россыпь и глубоко вздохнул:

— Ой, до чего ж тут хорошо, дидусь! . . Нет, я еще спать не хочу, погомоню с вами. Можно?

Глава IV

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ

На другой день из колхоза «Червоный партизан» отправляли ящики с фруктами — подарок подшефному детскому дому, который был тут неподалеку на даче.

Дед Макар почти не спал в эту ночь. Сон у него был вообще, по его словам, чуткий, как у старого пивня.[1] В эту же ночь деда обуревали тревожные думы. Вчера еще у него созрело решение — отправить приблудного хлопчика в детский дом. Но он не знал, как действовать в этом тонком деле. Принуждать своенравного гостя нельзя — сбежит. Уговаривать? Но какими словами? И оставить бездомного малыша на произвол судьбы дед тоже не мог. В этом он был непоколебим.

Еще только чуть забрезжил рассвет, как дед надел кожушок, сел около спящего Саши и просидел всё утро, обдумывая свою затею и гадая, что ждет в жизни хлопчика. Дед взмахом руки вспугивал птиц, слишком громко щебетавших поблизости, и сам старался не кашлять, чтобы не разбудить этого чужого хлопчика, которого успел полюбить, как родного внучонка. Вот уже и первые золотые лучи солнца брызнули в курень, а дед всё сидел, смотрел на безмятежно спавшего Сашу и вздыхал.

Когда стали нагружать на воз ящики с фруктами, дед осторожно разбудил его, помог умыться, расчесал своим самодельным деревянным гребешком его вскло-

[1] Пивень — петух.

коченные волосы. И лишь во время завтрака дед, начав издалека, осторожно заговорил о том, что так волновало его.

— Они там, басурманы, скачут себе и не знают, що мы гостинцы им готовим, — хитровато кивнул он на поодаль нагружаемый воз.

— А кому это, дидуся? — спросил Саша, беззаботный, веселый.

— Да таким же сорвиголовам, як и ты, — детишкам, що в детском доме. Мы им туда и овощь разную, и фрукту, и мед, и виноград отправляем, — нехай едят на здоровье. Зараз они, бачишь ты, на даче, як паны. Эге, я добре знаю, як жили паны. Так наши дети, що в детдоме, хочь и сироты, а живуть, як те княжата. У них там свои и яхты, и клубы, и оркестры, и театры... Та що там казать? Я вон и с родителями рос, а был чистый голодранец и за кусок хлеба водил слепцов-нищих, а в детдоме и харч сытный, и одежа чистая, и разным наукам там обучают.

Дед так увлекательно рассказывал о детском доме, что у Саши завистливо заблестели глаза. Тут, улучив минуту, дед осторожно посоветовал:

— А чи не поехать, хлопче, и тебе туда? Чуешь, Сашко? Поезжай, серденько. Всё одно ты сирота и приголубить некому тебя. Там и вырастешь и ученым станешь.

Сашу вначале обрадовало это предложение. Но, подумав, он с огорчением покачал головой:

— Не примут меня.

— Як так не примут?

— Нет у меня никаких документов.

Дед Макар задумался: да, нелегко без документов человека определить. Но тут же горячо возразил:

— А ты, хлопче, розумеешь, що такое рекомендация шефа? Бачу — не розумеешь. Коли мы, колхоз, тому директору детдома скажем за тебя слово, то примут.

Саша вздохнул: его угнетало беспокойство о потерявшемся Тимошке и манили путешествия.

— Дидуся, а мне ж очень хочется побывать в разных краях.

— И думать, Сашко, про то забудь, — строго сказал дед. — Трошки подрастешь, поумнеешь, тогда и помыкаешься по свету, а теперь загинешь.

Саша подумал: «Ведь я уже пробовал путешествовать. Но что это за путешествие в ящике под вагоном? Ясно, душевный этот дед Макар плохого не посоветует».

А дед уже наказывал председателю колхоза:

— Та скажи тому директору, що я сам, дед Макар, велел принять хлопца. Скажи: всем колхозом рекомендуем.

Саша попрощался с дедом. С грустной улыбкой полез на воз и сел на сено позади ящиков с яблоками и грушами. Сложные чувства испытал он, когда воз тронулся: до слез жаль было покидать этот сад и деда, с которым пережиты незабываемые минуты, и уже манило, звало его то новое, неведомое, что ждало в детском доме.

Ехали по высокому берегу Днепра. По его широкой, сверкающей под солнцем глади плыли пароходы, лодки и оттуда доносились веселые голоса. Вдали поблескивали строения Днепрогэса. Теперь там всё казалось низеньким, приземистым и тонуло в серебристой дымке. Не верилось, что ночью оттуда разливалось на всю степь море огня. Вокруг открывались бесконечные степные дали. Как и вчера, доносился рокот уборочных машин — комбайнов, сноповязалок. Когда воз спускался в балку, поросшую кудрявым леском, обдавало утренней прохладой, а веселый птичий щебет заглушал степные звуки.

У Саши было хорошее настроение. Он думал, каких встретит в детском доме товарищей, как будет с ними играть, купаться, бегать по лесу. Теперь он станет жить совсем по-другому, по-хорошему, так, как советовал дед Макар.

Вскоре Саша увидел в лесу лагерь детского дома: аккуратные домики, украшенные зеленью и цветами, белые палатки, ровные дорожки, посыпанные песком, воспитанников в белых майках и синих трусах. У него так радостно стало на душе, что он не вытерпел и спрыгнул с воза: «До чего ж хорошо тут!»

Директора в лагере не оказалось, и Саша сам стал расспрашивать у ребят, где он. Наконец, Петр Лукич показался на пригорке, и сердце Саши сильно забилось. Директор шел от реки, перекинув мохнатое полотенце через плечо. Саше понравились и его загорелое лицо, и

длинные прокуренные усы, и даже весело поблескивавшая лысина. Саша, волнуясь, нетерпеливо ждал, пока председатель колхоза и директор говорили о нем, и очень обрадовался, когда Петр Лукич объявил ему, что он принят в детский дом.

В лагере было так хорошо, что Саша скоро забыл о своем незадачливом путешествии. Он собирал для гербария растения, запоминал названия насекомых, птиц, рисовал Днепр: ему хотелось, чтобы вода на рисунке сверкала, как живая. Ему нравились пионерские зори, волнующие беседы, игры и песни у костра. Он готов был дни и ночи проводить на реке. В военных играх он командовал своим «торпедным катером», неожиданно налетал на противника, добиваясь от лодки птичьей быстроты и подвижности. С гордостью вспоминал он рассказы бабушки о знатных людях Матросовского рода и мечтал стать моряком.

Потом детский дом вернулся в город. И там жилось также интересно и хорошо. Правда, было у Саши одно больное место, о котором знал только он. Самолюбивый и гордый, он горько переживал, когда кто-нибудь из дружно сжившихся между собой ребят упрекал его в недавнем бродяжничестве. Тогда он чувствовал себя одиноким. Но ребята сами резко осуждали тех, кто упрекал, и о его прошлом перестали вспоминать. Он совсем успокоился. Так беззаботно прожил он в детском доме больше года. Потом пустяковое, на первый взгляд, событие выбило его из колеи.

В столовой не досчитались плитки шоколада.

Директор вызвал Сашу в кабинет:

— Сознайся, что ты взял. Ты вертелся там.

Саша даже вздрогнул от этих слов. Директор задел самое больное место: ну, да, ему, Матросову, не верят, его всё еще считают здесь чужаком, бродягой, способным на всё...

— Я не брал, — глухо сказал Саша. — Верьте совести, не брал, — раздельно произнес он слова деда Макара, которые стали для него значительными, как клятва.

— Зачем ты отпираешься? Не хочешь со мной быть откровенным, так придется сознаться в своей вине на линейке перед строем ребят.

— Как вы можете не верить совести? — крикнул

Саша, и злые слезы брызнули у него из глаз. Ненавидя самого себя, что «слезу пустил», он быстро повернулся и убежал.

Озлобленный, он долго бродил по улицам города. И когда два оборванца предложили ему ехать с ними на Волгу, он согласился почти бездумно:

— Да, нам по пути. Где-то на Урале живет моя тетя.

После незабываемой дедовой ласки ему захотелось иметь свою родню Он представлял себе тетю такой же доброй, какой была мать А если не удастся разыскать тетю, — нестрашно: детские дома ведь везде есть.

Когда на ночь Саша не вернулся в детский дом, всех встревожило его исчезновение Утром к директору пришла плачущая девочка:

— Петр Лукич, Саша не виноват. Я во всем виновата. Люблю до смерти сладкое. Я взяла шоколад, — говорила она, обливаясь слезами. — А Саша не такой... Вы его не знаете, — он гордый.

Директор поморщился: ошибка воспитателя — самая страшная ошибка. Она может искалечить человека. Не одну бессонную ночь провел Петр Лукич, вспоминая этот случай. Конечно, ему не жаль было шоколада, — он хотел только одного — душевной чистоты воспитанника, взявшего этот шоколад. Но ошибку исправить было невозможно.

Сашу Матросова искали везде, но так и не нашли.

Глава V

НОВАЯ СЕМЬЯ

Сашу доставили в Уфимскую детскую воспитательную колонию в конце апреля. Уже сильно пригревало солнце. Весело звенели ручьи. В оврагах дотаивал почерневший ноздреватый снег, а на пригорках уже ярко зеленела трава, желтели одинокие приземистые цветы мать-и-мачеха.

В колонии с высокого холма он взглянул вокруг. Открылись далекие луга, леса, еще темные, но с еле заметными зеленоватыми оттенками, разлившиеся реки — Белая и Уфимка. В солнечном небе — торжествующий перезвон жаворонков, манящие журавлиные зовы.

Он тоскливо поморщился, с завистью глядя на улетающих журавлей. Не так всё пошло, как он предполагал. Ушел он из детского дома с твердым решением — разыскать на Урале тетю Аню. Но до нее он так и не добрался. Перед ним открылось много заманчивых путей, и Саша заколесил по свету с новыми спутниками. Они называли путешествием свое бродяжничество.

Теперь он вспоминал вечер, когда милиционер задержал его в Саратове, на Чапаевской улице. Из-за Волги надвигались сумерки. Вечер был чист и свеж. Изредка налетал из-за угла зябкий ветерок. Саша вздрагивал. Одет он был легко: пиджачок, матросская тельняшка, кепка, стоптанные тапочки.

Тяжело было у Саши на душе. Он ведь хотел только еще немного попутешествовать, чтоб больше знать, а невольно стал беспризорником и попал в колонию.

Он тосковал здесь.

«Всё равно убегу, — думал он, — осмотрюсь и убегу. Никакие цепи меня тут не удержат. Помотаюсь по свету, насмотрюсь на всё, а потом сам пойду в детдом или поступлю на завод».

Его направили в школу учиться и в слесарный цех мебельной фабрики — работать после школьных часов.

В школе учительница Лидия Власьевна ласково спросила его:

— Родители у тебя есть, сынок? — Сама она одинока. Мужа-большевика убили белые в гражданскую войну, а единственный сын недавно добровольцем ушел в Красную Армию. И всю материнскую любовь и ласку она старалась отдать воспитанникам. — Что же ты не отвечаешь?

Он молчал. Огрубел, пока беспризорничал, и к людям стал относиться с недоверием. Ему казалось, что на него смотрят все с жалостью или даже с презрением, как на пропащего. Решив бежать из колонии и не желая притворяться и кривить душой, он избегал разговоров.

Лидия Власьевна вздохнула: нелегко будет учить и воспитывать этого новичка. Что ж, через ее руки немало прошло таких. Приходили они в колонию грязные, оборванные, грубили, а то и буянили, а через несколько лет уходили из колонии в большинстве случаев настоящими людьми. Каким же станет этот диковатый паренек с прямым и недоверчивым взглядом?

В цехе Матросов в первый же день поссорился со слесарем Брызгиным, к которому его определили подручным. Правда, воспитанник Брызгин, возомнивший себя начальником, стал высокомерно поучать новичка, как пользоваться молотком, зубилом, когда и какой подавать ему, Брызгину, инструмент. Саше казалось унизительным выполнять приказы невзрачного с виду, но заносчивого паренька. И когда тот упрекнул Матросова, что он плохой подручный и только зря хлеб ест, Матросов вспылил:

— Сам нос утирать не умеешь, а командуешь. Не буду слушаться.

Брызгин пожаловался на него мастеру.

Седой, сухонький мастер слесарно-механического цеха, Сергей Львович, подошел к Матросову:

— Что невесел? Может, кто обидел тебя?

Матросов не терпел покровительственного отношения к себе. О мастере ребята сказали ему: «Знающий, но строгий, — хоть кого чище утюга выгладит». А Саше хотелось показать ребятам, что он никого не боится.

— Пожалеть хотите? — вызывающе взглянул он на мастера. — Терпеть не могу жалости. Противно.

— Ерш какой! Гордость ты имеешь, а невежественный гордец вроде мыльного пузыря. Сначала научись уму-разуму, полезную работу делай, тогда и гордись. А ты еще в трех соснах заблудишься.

Матросов отвернулся, буркнул:

— Нужна мне ваша учеба, как хомут ястребу! И так не пропаду.

Ребята у соседних верстаков засмеялись: «Занозистый парень!»

Мастер хмуро коснулся пальцем седого уса. Из-под насупленных бровей сурово взглянул на новичка:

— Ну-с, вот что... Не жалеть — учить пришел тебя. Прямо тебе говорю — нянчиться, упрашивать не буду. А хочешь быть человеком — учись, работай честно; помогу во всем. Не будешь слушаться — выгоню из цеха.

«Заядлый старичишка», — подумал Матросов.

— Молотком владеешь? — спросил мастер.

— Это как? — подозрительно усмехнулся Матросов, думая, что мастер потешается над ним.

— Попадание молотком в определенную точку...

Ребята выжидающе смотрели на строптивого новичка. Матросов не хотел ударить лицом в грязь:

— Подумаешь, в «одну точку»! Пустое дело!

Но мастер сразу заметил, что молоток не послушен руке новичка, и велел ему сначала бить деревянным молотком по деревянной колодке.

— Это насмешка! — вспылил Матросов.

— Нет, обучение твердости и точности удара.

Некоторое время Матросов ожесточенно ударял молотком, косясь на ребят и прислушиваясь, не смеются ли они. Но ребята были увлечены своим делом и только изредка обменивались непонятными словами. Брызгин, видно, особенно щеголял ими: «рейсмус»,[1] «крейц-мейсель»,[2]

[1] Рейсмус — инструмент для проведения линий по краю металла или дерева.

[2] Крейц-мейсель — инструмент для рубки металла.

«микрометр», [1] — то и дело говорил он. Саша сердито косился на Брызгина, в душе завидуя ему. Брызгин так уверенно и красиво обрабатывал напильником какую-то деталь, время от времени обмеряя ее каким-то замысловатым инструментом.

Когда мастер вышел, Матросов сразу же накинулся на Брызгина:

— Доносчик, жаловаться вздумал! Я так проучу тебя, — век помнить будешь! — И замахнулся молотком.

— Ты не очень-то расходись! — предостерегающе зашумели ребята. — Брызгин прав. С него работу спрашивают.

Тогда Саша начал подтрунивать над Брызгиным: «Строит из себя мастера, а сам-то без году неделю работает. . .» Но ребята и теперь не поддержали его. Кто-то язвительно спросил:

— А сам что умеешь? Только языком болтать?

Матросов швырнул молоток:

— Не буду деревом по дереву бить!

В мастерской засмеялись. Виктор Чайка — староста корпуса, куда поместили Матросова, — хотел шуткой расположить его к себе:

— Деревом по дереву, говоришь? — тряхнул он белесым вихром, подмигнув. — Это, брат, первая технологическая операция. Надо всё по порядку. А ты больно прыткий. Не хочешь ли сразу взяться за циклоидальное зацепление?

— И ты насмешки строишь? — возмутился Матросов и гневным взглядом смерил обидчика. Виктор Чайка на целую голову выше, на верхней губе у него уже заметен пушок и, видно, он гораздо сильней, но Саша пригрозил ему:

— Смотри, и тебе попадет!

— Или пусть призму прямолинейную выпиливает, — сказал Брызгин, надул толстые щеки и прыснул со смеху.

От обиды у Матросова перехватило дыхание. Непонятные слова он принимал за насмешку.

— Ну, хватит шутить! — добродушно сказал Виктор Чайка, устремив синие глаза на Матросова. — А ты не

[1] **Микрометр** — инструмент для измерения очень малых величин

кипятись и не задавайся. У тебя гонору, будто стал уже слесарем шестого разряда, а сам едва на дюйм выше верстака поднялся. Учись, поможем!

Но Матросов был уже не в силах сдержаться.

— Не нужна мне ваша помощь! — крикнул он и убежал из цеха.

Вечером, томясь от скуки, Матросов зашел в клуб и удивился веселой беззаботности воспитанников. Виктор Чайка так задушевно играл на баяне, что все замирали, слушая его.

Прислонясь к стене, заслушался и Саша.

— Хорошо, Чайка! Здо̀рово, Витька! — кричали гармонисту.

Потом Еремин, скуластый парень, отменный рассказчик, выдумщик и чтец, рассказывал сказки, читал, представлял в лицах басни Крылова. Ребята хохотали. А в другом углу Брызгин показывал ребятам на витрине свои и чужие рисунки.

— Вот бился, бился, — сетовал курносый паренек, — никак не схватишь живую воду реки Белой, когда она, понимаешь, бликует на солнце. Ну, как у Айвазовского играет море или у Куинджи — Днепр при луне. А снег на зеленых елках — здо̀рово... Белый-белый, аж глазам больно.

Саша с завистью прислушивался. Эти ребята везде хорошо себя чувствуют — в цехе, в школе, в клубе. Только он никому не нужный, нигде места себе не находит. А когда-то и он рисовал Днепр и добивался, чтобы вода поблескивала, как живая.

Брызгин заметил его отчужденность и приветливо позвал, будто они и не ссорились:

— Чего там в углу притулился? Иди смотри наши рисунки.

Но Саша резко ответил:

— Больно нужна мне твоя мазня! — И повернулся к гармонисту.

Виктор Чайка играл на баяне и с улыбкой смотрел на ребят счастливыми глазами, как бы спрашивая; да понимают ли они всю прелесть звучания песни? Смотрел он и на Сашу, на расстегнутый и лихо откинутый ворот его черной сатиновой рубахи, из-под которой выглядывала полосатая матросская тельняшка. Ему было приятно, что Саша так внимательно слушает музыку. Вот

глаза их встретились, и Чайка, перестав играть, подмигнул:

— Будь как дома, парень. Что стенку подпираешь? Ближе сюда иди!

Саша ничего не ответил.

Чайка, тряхнув чубом, припал щекой к баяну и снова заиграл, подпевая:

Выйду ль я на реченьку,
Выйду ль я на быструю...

И Саша опять заслушался.

Вдруг раздался пронзительный свист. У двери появился толстый парень с маленькими выпуклыми глазами и вызывающей усмешкой на широком рябом лице.

— Не мешай, Клыков, не свисти! — зашумели на него ребята.

— Игнат Клыков еще никого никогда не боялся, — пробасил увалень. — Верно, Жак Паганель?

— Верно, мы такие! — задорно крикнул худенький рыжеголовый паренек, забежав вперед и заискивающе посмеиваясь.

Саша сразу же узнал своего прежнего спутника, Тимофея Щукина, но ему было неприятно, что Тимошка так юлил. А Щукин уже бежал к нему:

— Сашка, друг, ты меня не признал?

Матросов хотел было расспросить Тимошку, как он попал сюда и кто этот рябой толстяк, но Щукин, отчаянно прищурив один глаз, предложил бежать из колонии.

— Эй, Клыков, сюда! — крикнул он.

Увалень подошел к ним и до хруста сжал Сашину руку.

— Терпи, — мрачно ухмыльнулся Клыков. — Железные решетки и ломы гну этими руками. И не родился еще на свет человек, какого б я боялся.

Тимошка опять заискивающе хихикнул.

— Он такой! Страшенная сила... Так вот, мы с ним всё и обдумали, — таинственно продолжал Щукин. — Подговорим еще с десяток ребят — и махнем!

Матросова обрадовала эта встреча с неожиданными единомышленниками:

— Теперь мы заживем, а то меня одного совсем тут загрызли.

Он уже не чувствовал себя одиноким. Не надо больше ему унижаться перед ненавистным зазнайкой Брызгиным и терпеть насмешки ребят. Договорившись с Тимошкой и Клыковым о побеге, Матросов про себя решил: он будет у них вожаком, потому что Клыков — малограмотен и глуповат, хотя и очень самоуверен, а слабосильный безвольный Тимошка и раньше шел у него на поводу.

Все трое заговорщицки пожали друг другу руки:

— Значит, дружба и тайна!

— Башку отвинчу тому, кто тайну нарушит. Слово Игната Клыкова — кремень.

★

И снова Сашей овладела неодолимая страсть к путешествиям. Всю ночь он думал о самых заманчивых и трудных маршрутах, необычайных приключениях и с волнением ждал сигнала. Днем в школе и в цехе он был рассеян, отвечал невпопад, ребят сторонился, грубил им и из-за пустяка лез в драку.

В цехе мастер спросил его:

— Ну-с, первую операцию освоил?

— Да, — небрежно буркнул Матросов, хотя понимал теперь, что мастер не в насмешку заставлял его бить деревянным молотком по деревянной колодке.

— Так-так, — многозначительно сказал мастер, испытующе глядя в глаза новичку.

Он, кажется, видел Матросова насквозь, со всеми его горькими думами и тайными затеями. «Понимаю, что врешь, — тем хуже для тебя. Много таких видел, знаю вашего брата», — говорил взгляд старика. И Саша отвернулся.

— Почему под ногами и на верстаке мусор? — спросил мастер. — Почему молоток под верстаком валяется? Всякая вещь должна быть положена на свое место, а не брошена. Мне за тебя убирать?

«Придира», — злобно подумал Саша и промолчал.

— Ну, что ж, дело красит человека, — сказал мастер. — Принимайся за следующую операцию, если правда, что первую освоил. Рубка металла зубилом — вертикальная, горизонтальная, по уровню губок тисков.

Мастер обстоятельно объяснил, как это делается. Но когда он ушел, Саша понял, что почти ничего не усвоил

из его объяснений. Ему ведь всё это не нужно: он твердо решил бежать отсюда и поработает лишь для отвода глаз. Но, косясь на Чайку, Матросов заметил, с каким увлечением и мастерством работает Виктор, и ему тоже захотелось работать без притворства. Но инструмент не слушался Сашу: то зубило соскальзывало, то молоток попадал не по зубилу, а по пальцам. Липкая кровь сочилась из пальцев, но Матросов, кривясь от боли, ожесточенно бил и бил молотком то по зубилу, то по рукам. Наконец он со злостью швырнул молоток и стал дуть на ссадины и кровоподтеки.

К нему подошел Виктор Чайка:

— Зачем калечишь себя? В инвалиды захотел? Сергей Львович объяснял же тебе, как надо делать.

— Придира твой Львович, а не мастер!

— Как сказать! Не суди о человеке по первому взгляду. Его бывшие ученики стали директорами заводов, профессорами, лучшими стахановцами. Сам он был слесарем-лекальщиком и лет десять назад самоучкой на инженера выучился. Нет, Львовича мы все любим. Знающий, упорный.

— Не агитируй, чего пристаешь? Нужны вы мне все, как. . .

— «Хомут ястребу»? — засмеялся Виктор. — Видишь ли, мне рук твоих жаль. Удар у тебя не точный. Так без пальцев останешься. Ты, знаешь, зря не освоил первую операцию. Наше дело, брат, — большая наука. Тут надо ступеньку за ступенькой, прием за приемом одолевать.

— Нашелся мне учитель-мучитель, — проворчал Саша, завистливо косясь на Чайку. Нравилось ему, как тот быстро и ловко работает, но никак не хотел признать себя его учеником.

Всё-таки Саша взял молоток и зубило и стал работать так, как советовал Чайка. Но за его спиной появился Клыков и насмешливо посмотрел через плечо на его работу:

— Стараешься, матрос? Кашу зарабатываешь? Зря всё это, зря.

Саша незаметно спрятал за спину руки в ссадинах. Из-за плеча Клыкова высунулась рыжая голова Тимошки.

— Бросай, пойдем прохлаждаться, — сказал он.

На него угрожающе крикнул Брызгин:

— Отойди от Матросова, ты, компрачикос!

— Что? Как ты назвал? — грозно спросили его сразу Тимошка и Клыков.

— Читайте Гюго «Человек, который смеется», — узнаете.

Тимошка и Клыков догадывались, что слово «компрачикос» очень обидное, потому что даже Виктор Чайка укоризненно взглянул на Брызгина.

— Мы тебе припомним этого «компрачикоса», — погрозил Тимошка, прячась за спину Клыкова.

— В самом деле, не мешайте Матросову работать, — сказал Виктор Чайка. — Уходите от него прочь.

— Молчи, заступник, — надулся Клыков. Потом схватил железный прут, как фокусник, согнул его в спираль и отшвырнул в сторону.

Но Чайка, видно, не испугался, весело подмигнул:

— Велика Федора, да дура! А Сашку не тронь.

— Пошли, — сказал Клыков, положив тяжелую ручищу на плечо Саши, — пойдем, а то руки чешутся. Боюсь, и мокрого не останется от этого учителя, — кивнул он на Чайку.

Саше совсем не хотелось казаться Клыкову покорным и беспомощным учеником Чайки, и он ушел.

Мастер цеха, Сергей Львович, ночью долго не мог уснуть, думая о воспитаннике-новичке. Как вызвать интерес к труду, к учебе у этого дерзкого бесшабашного паренька? Как и чем на него воздействовать? У Сергея Львовича немалый житейский опыт. Много таких, как Матросов, прошло через его руки, но к каждому из них надо было придумать особый подход. Одного можно пронять властным окриком, другого, наоборот, — теплым словом, третьего — холодным взглядом и полным безразличием к нему. Как же повлиять на Матросова?

Утром Брызгин, по совету мастера, объявил Матросову:

— Можешь к работе не приступать. Без тебя справимся.

Матросов посмотрел на суровые лица ребят. Почувствовав недоброе в словах Брызгина, запротестовал:

— Так я тебя и послушал! Назло вот буду работать.

Может, он и в самом деле стал бы работать, но появился опять Клыков и язвительно упрекнул:

— Сам набиваешься на работу? Дожили!

Матросов смутился: и правда, зачем ему работать, если решено бежать. И он опять пошел за Клыковым, но очень обеспокоился, когда вдогонку Брызгин крикнул:

— Вечером на цеховом собрании о тебе специальный вопрос будет!

Весь день Саша томился от дурных предчувствий. Клыков советовал ему на собрание не итти. Матросов и сам считал, что собрание ему ни к чему. Но беспокойство угнетало его. Вечером какая-то сила повлекла его на цеховое собрание. Неодолимо хотелось узнать, что о нем будут говорить люди.

Вначале собрание обсуждало вопрос о рытье котлована для водохранилища. Все выступающие говорили, что работа предстоит длительная, очень тяжелая, и, вместе с тем, почему-то просились на эту работу. Матросову было непонятно, что же привлекательного в трудной, изнурительной работе. И уже совсем его удивило выступление Виктора Чайки, который сказал:

— Пойдем рыть котлован. Настоящий человек за честь почитает выполнить работу, которая потрудней.

«В чем же тут честь? — не понимал Матросов. — Для кого и для чего они стараются? Разве им за это дадут ордена или много денег? Так об этом и помину нет... Скорее, скорее бы уже обо мне заговорили».

Наконец, Еремин, председатель конфликтной комиссии отряда, в котором был Матросов, поднялся, глубоко вздохнул и охрипшим голосом стал читать рапорт Брызгина мастеру цеха. Все притихли, и четко звучало каждое слово рапорта. Брызгин просил убрать от него Матросова, совсем недисциплинированного воспитанника, лодыря и грубияна, который только мешает работать.

Почувствовав на себе укоризненные, будто колющие взгляды, Матросов не стерпел и крикнул:

— Подумаешь, отказывается! Я и сам не хочу с ним...

— Воспитанник Матросов, я вам слова не давал, — резко прервал его председатель.

На собрании заговорили о том, что Матросов со всеми ссорится, мешает товарищам работать. Долго не могли решить, к какому же делу его приставить.

Матросов ерзал на месте, точно сидел на раскаленной плите, смотрел по сторонам, ища защиты, поддержки, но от него все отворачивались.

Только Виктор Чайка сказал:

— Матросов — прямой и бесхитростный парень...

Саша облегченно вздохнул: хоть один человек вступился за него. Недаром и раньше нравился ему этот Чайка. Но вот Виктор посмотрел на него в упор и добродушные глаза его стали холодными.

— ...Но я не понимаю, — продолжал Чайка, — чего он хочет, чего он хорохорится? Знай, Матросов: хвастунам и зазнайкам у нас — грош цена. За честную работу человека ценим. А ты только и умеешь кашу есть.

«И этот заодно с Брызгиным, — подумал Матросов. — Ненавижу их».

— Я считаю, что и Брызгин виноват, — говорил Чайка. — Нет у него нужного подхода. Предлагаю Брызгину снова взять к себе Матросова и сработаться с ним.

— Лодырь он, не хочу его, — выкрикнул Брызгин.

Матросов вскочил точно его укололи, взъерошился, как воробей, сжал кулаки: ну да, здесь все, даже этот невзрачный паренек, считают его пропащим. Но что он, Матросов, может возразить им всем? И язык его будто одеревянел.

И вот, как суровый приговор, прозвучал голос председателя:

— Есть предложение. Ввиду того, что с Матросовым никто не хочет работать, передать его в распоряжение начальника колонии.

Минуту длилась нестерпимая тишина. Потом со всех сторон раздались единодушные возгласы:

— Верно! Не нужен в цехе такой!

Кто-то язвительно выкрикнул:

— Запретить ему работать и учиться, — пусть, как барин, чужой хлеб ест!

Все засмеялись. Саша побледнел, съежился. Это были для него самые обидные слова.

«Ну и пусть, ну и пусть, — думал он. — Не важно. Всё одно убегу».

Но всё это было для него очень важно. Еще никогда в жизни так много людей, молодых и старых, не занимались им. Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не смотреть им в глаза. Неужели он и правда

тут хуже всех? Да, выходит так, потому что все-все, до одного человека, поднимают руки за предложение председателя. Вот они кругом, поднятые руки, руки, руки, как лес. Натруженные руки, делающие множество полезных вещей и теперь грозно обвиняющие его в лодырничестве, в отрыве от товарищей. От этих рук темнее стало в цехе. Или это темнеет в глазах?

И Матросов с ужасом почувствовал, что он — одинодинешенек.

Может, еще не поздно пообещать, что он обязательно исправится? Но Саше сдавило горло, и он еле сдерживался, чтобы не расплакаться. Это была самая горькая минута в его жизни.

Матросов не понимал, что все эти люди потому и собрались сюда, потому так взволнованно и говорили о нем, что судьба его тревожила их.

А Виктор Чайка уже смотрел на Матросова прежними добродушными глазами и вспоминал, как и его самого вначале считали трудновоспитуемым, как и о нем вот так же говорили на собраниях, как он не раз сиживал в изоляторе за грубые проступки. О чем-то посоветовавшись с воспитателем Кравчуком, Чайка поднял руку:

— Товарищ председатель, прошу слова для внеочередного заявления.

Все насторожились и повернулись к Чайке. Матросов слушал и ушам своим не верил. Чайка говорил:

— Товарищи, хотя и неудобно выступать по вопросу, по которому уже принято решение, но я хотел просить собрание... Я верю в Сашу Матросова и буду работать с ним. Прошу передать его мне в подручные.

Раздались аплодисменты.

У Саши брызнули слезы из глаз и, чтобы скрыть их, он стремглав убежал с собрания.

После собрания учительница Лидия Власьевна, мастер Сергей Львович и воспитатель Кравчук с тревогой говорили о странном поведении Матросова.

— Ох, много хлопот будет с ним! — вздохнула Лидия Власьевна. — Очень своенравный.

— Ничего, — сказал Кравчук, — я уже немного знаю его стремления.

Еще до собрания Кравчук послал Клыкова на работу в подсобное хозяйство. Не видно было и Тимошки. Саша

Матросов томился один в укромных углах, стараясь не показываться людям на глаза.

Виктор Чайка разыскал его и позвал в столовую ужинать.

За столом ребята, посмеиваясь, о ком-то говорили:

— Он ведь граф, наверное, или лорд... Важная особа!

— Барин, барон или баран, словом лодырь, потому и не желает работать и учиться.

— А может, он слабенький, на курорт его надо?

— Ленью заболел!

— Ничего, одного дармоеда-лодыря сообща как-нибудь прокормим.

Ребята не смотрели на Сашу, будто его тут и не было, и он толком не знал, о ком они говорили, но их едкие замечания жгли, кажется, самое сердце. Он ел всё медленнее, потом хлеб застрял в горле, и он, бросив ложку, пролез под столом и выбежал из столовой.

События этого дня так взволновали Матросова, что почти всю ночь он ворочался на койке и не мог уснуть. Будь что будет, — бежать, бежать ему надо отсюда, бежать уже хотя бы потому, что стыдно смотреть людям в глаза.

Как только Виктор Чайка согласился взять его к себе, когда все уже отвергли его? Виктор ему не сват, не брат и не друг — никто. И почему люди на собрании захлопали в ладоши, когда Чайка высказал свое желание взять его в подручные? Значит, они не хотели от него, Матросова, отказываться. Но почему они все голосовали против него? А что было бы, если бы он учился и работал как надо?

Но как только мысли Саши приобретали какую-то ясность и приводили к какому-то решению, он вдруг опрокидывал всё одним словом: «Убегу». Тревожные думы, как тучи, надвигались снова и снова. Впервые Саша так серьезно обдумывал свою жизнь.

На работу он вышел во-время и, потупясь, сам подошел к Чайке. Тот, будто ничего и не произошло, запросто спросил:

— Ты почему вчера из столовой убежал? То ребята про Клыкова говорили.

Саше не легче от того, что речь шла о другом. Слова товарищей явно относились и к нему.

— Клыков — мой друг, — буркнул он, — значит, всё одно, что и про меня говорили.

— Плохо же ты выбираешь друзей. А у нас ведь много хороших ребят. — И, помолчав, спросил: — Ты что, Сашук, всё сторонишься? Ты тут — в своей семье. В кружок бы какой записался, что ли. Веселее жить будешь.

Саша посмотрел на замасленную рубаху Чайки, на его огрубелые, мозолистые руки, в кожу которых въелась металлическая пыль и мазут, загадочно усмехнулся:

— Поинтересней кружка дело есть. Такое дело, что и ты, может, пойдешь за мной.

— Бежать из колонии? — догадался Виктор. — Нет, я уже набегался. Бегал из четырех детдомов и трех колоний. Пора за ум браться, довольно бродить по свету, как бездомная паршивая собака, — поморщился Чайка и так взглянул на Матросова, что тот съежился и на секунду сам себе показался смешным.

— Не просто бродить, — значительно возразил он. — Не бродить, а путешествовать. — И назвал самую вескую причину путешествия — таинственную Алмазную гору, где так много драгоценных камней, что люди слепнут от их блеска.

— А гномы там есть?

— Кто такие? — насторожился Саша.

— Малюсенькие, с пальчик, подземные человечки. И волшебники, видно, есть? — И, не сдержавшись, Виктор добродушно рассмеялся: — Сказок, чудак, я и сам много знаю. А у меня вот дела поинтереснее, чем сказки. Я уже тут кое-чему научился, освоил опиловку и рубку металла, знаю реечное сцепление, еще буду учиться и мечтаю изобрести такую интересную машину, что дух захватывает, а ты мне про сказки.

Саша обиделся. Он сам уже мало верил в существование Алмазной горы, а насмешливое отношение Чайки совсем унизило его в собственных глазах.

«Разговаривает со мной, как с мальчишкой глупым. Думает, совсем купил меня тем, что согласился работать со мной».

Он хотел нагрубить Чайке, уйти, но в глазах Виктора светилось такое искреннее сочувствие и доброе желание помочь ему, что Саша смолчал.

— Без навыка и щи в ложке мимо рта пронесешь, —

подмигнул Чайка, крепче зажимая в тиски железную пластину. — Нет у тебя, друг, крепости в руках, нет точного расчета в ударе. И на кромке, видишь, зазубрины, горбинки, выемки, а надо по прямой линии, вот так. — И стал показывать, как надо рубить.

Саша смотрел на ловкие движения рук Чайки и вдруг ему неодолимо захотелось поговорить с этим веселым парнем, поговорить о чем-то важном. И не знал, с чего начать.

Саша с искренним усердием принялся обрубать зубилом зажатую в тиски пластину, как учил его Чайка. Но, взглянув в окно, увидел подозрительное поведение своего дружка Тимошки, и уже не слушал Чайку. Шел Тимошка к школе с воспитателем Кравчуком и, забегая вперед, взволнованно заглядывая в лицо Кравчуку, о чем-то торопливо говорил.

«Неужели продался?» — с тревогой подумал Саша.

Томясь у верстака, он с нетерпением дождался обеденного перерыва, чтобы разыскать Тимошку. Тимошка сидел в скверике на скамье, уткнувшись в какую-то, видно, очень интересную книгу.

— Ну как, скоро в полет? — спросил Саша о том, что больше всего волновало его.

Тимошка замялся:

— Не знаю. Пусть тот летает, у кого хвост длинный.

— А ты? — вскрикнул Саша, чуя недоброе.

— Я раздумал.

— Как так раздумал? — шагнул Саша к Тимошке, еще не веря его словам. Может, Тимошка тоже решил пошутить, посмеяться над ним? Теперь всякий имеет право над ним посмеяться. Но Тимошка отступил и так испуганно съежился, что Саша понял: не шутит он. — Как ты посмел без меня это решить? Как мог нарушить обещание? Да мы тебя с Клыковым в порошок сотрем.

— Всё одно, — пролепетал Тимошка, отступая, — а убегать не стану.

Сашу ошеломила неожиданная и непонятная перемена в Тимошке: откуда взялась такая дерзость у этого тщедушного подростка, который всегда послушно шел на поводу у более сильного товарища! Кто и чем сумел подкупить его и внушил такую самоуверенность? Поступок Тимошки показался Саше верхом вероломства, и он сгоряча дал Тимошке подзатыльника. Тимошка закри-

чал во всё горло. На крик подошел воспитатель Кравчук.

Тимошка не посмел пожаловаться, но Саша сам выступил вперед:

— Это я ударил его! И не то ему еще будет!

— Вот и заработал десять суток изолятора, — тихо сказал Кравчук. — Малый ты дерзкий и, видно, откровенный. Поговорим еще...

Сашу увели в изолятор.

Глава VI

ПУТИ К ЗВЕЗДАМ

Первые двое суток Саша просидел в изоляторе бездумно — ел, спал, иногда напевал что-нибудь — и ждал. Вот-вот придет Клыков, откроет дверь и скажет: всё готово, можно бежать. Но Клыков всё не шел, Саша стал задумываться. Пропал вкус к еде, сон. Ночью в изоляторе — гнетущая тишина. Только изредка шальной весенний ветер гремел железом на крыше. Сашу всё больше угнетало одиночество. Иногда в ночной тиши чудился ласковый голос матери: «Один растешь, Сашенька?» И будто крыльями опахнет его сон — и улетит. Вот и теперь после такого сновидения он думал всю ночь. Но даже думы о побеге не давали никакого утешения. Ничего доброго не сулил побег, и Саша с отчаянием думал: «Всё-таки уйду. Всё равно я пропащий»...

Вечером к нему в изолятор пришел воспитатель Кравчук и, скупо улыбнувшись, сказал:

— Навестить пришел тебя. Ну, как живешь?

Саша встретил его с враждебной настороженностью: «Пришел проверить, не убегу ли. Сам же загнал в эту кутузку, да еще спрашивает, как живу!»

— Хорошо живу, — холодно ответил Саша. — А вы пожалеть пришли?

— Да что тебя жалеть? Жалела Маша ежа, да сама накололась. Ты уже не маленький, сам за себя постоишь. Мне, знаешь, даже понравилось, что ты не юлил, не прятался в кусты, а прямо и честно признал

свою вину. Я хочу об интересных делах с тобой поговорить.

«Хитрый, да меня на удочку не подцепишь! — оживляясь, подумал Саша. — Со скуки, пожалуй, поболтаю с тобой». — И первый тоном экзаминатора неожиданно спросил:

— О Козлове знаете?

Кравчук присел к нему на кровать.

— О городе, который называется теперь Мичуринском, или о путешественнике спрашиваешь?

Саша испытующе взглянул на воспитателя:

— Ага, про путешественника.

— Ты слышал когда-нибудь, — начал Кравчук, — как Козлов разыскивал в пустыне Гоби таинственный мертвый город Хара-Хото?

— Расскажите! — потребовал Саша.

— Когда-то в древности, — неторопливо заговорил Кравчук, — в Хара-Хото жило много людей. Потом исчез этот город, вместе с ним исчез и целый народ «си-ся». Вот ученые и хотели узнать, что это за народ, как он жил, почему исчез с лица земли: если сам вымер, то отчего, если истреблен, то кем и почему. Понятно? Раскопки открыли бы ученым тайну этого города, или, как тогда говорили, тайну Гобийской пустыни, но даже развалин мертвого города ученые найти не могли. Пустыня велика и страшна, а путь к городу неизвестен. Знали его только буддийские попы — ламы, но они нарочно обманывали ученых, посылали их совсем в другую сторону. И Козлов решил: «Чего бы это ни стоило, а Хара-Хото я найду».

— Нашел или нет? — нетерпеливо спросил Саша.

— Да, можешь представить себе, сколько Козлову пришлось дум передумать, как трудно было искать Хара-Хото! И всё-таки Козлов нашел мертвый город.

— Ух ты, какой! — облегченно вздохнул Саша. — Ну и что?

— Раскопки превзошли все ожидания. Было найдено множество древней утвари, рукописей, картин. Находки Козлова обогатили науку, о них написаны книги, исследования!

— Еще говорите.

Кравчук усмехнулся.

— А как в Кашгарских пустынях Центральной Азии

вел себя Козлов! Понимаешь, кругом бесконечные мертвые песчаные барханы. Обжигающий зной и песчаные бури валили людей с ног. Часто нехватало воды, и ее делили по каплям. Иногда на маленькую группу участников экспедиции, которую возглавлял Козлов, нападали ватаги разбойников-тангутов и надо было вести бой с ними. Но Козлов с неодолимым упорством добивался своей цели.

— А чего ему нужно было? — с притворным равнодушием спросил Саша.

— Изучал историю и быт народов Азии, изучал растения, птиц и животных. Да его всё интересовало, что полезно для науки!

Саша вздохнул. В глазах его горел беспокойный огонек.

— Еще, еще говорите, Трофим Денисович. Только подробней, пожалуйста.

В изоляторе стало совсем темно. Синяя ночь, мигая звездами, заглядывала в окно.

Саша слушал Кравчука, не прерывая.

Рассказав всё, что помнил о Козлове, воспитатель подошел к окну.

— Ишь, красота какая! Весь Орион поднялся.

— Чего это? — не понял Саша.

— Созвездие. Что-нибудь понимаешь в звездах?

— Нет. А что в них понимать? Расскажите.

— Ну, смотри на ту вон звезду, в левом углу окна. Это звезда Бетельгейзе из созвездия Орион. Жара там — три тысячи градусов. Ну-ка, подойди сюда. А внизу вон, справа, в том же созвездии — звезда Ригель. Тринадцать тысяч градусов. Понял? А вон туда смотри — самую яркую звезду видишь? Ишь, переливается цветами, как бриллиант. Сириус это. Триста тысяч километров в секунду пролетает луч света, а от этой звезды до нас он доходит только через девять с половиной лет.

— Ну и далеко! — изумился Саша.

— А большинство звезд еще дальше, и свет от них, понимаешь, доходит только через миллионы лет. Но астрономы знают не только расстояние до многих звезд, но и их температуру, вещество и даже вес...

— Хорошо бы стать астрономом! — тихо сказал Саша и подумал: «Ишь, как расписывает». Но тут же спросил: — А кем лучше быть, как думаете, Трофим Денисович?

Кравчука радовали такие вопросы воспитанников. Он быстро зажег свет, вытащил из бокового кармана записную книжку, вынул из нее золотистый засушенный веерообразный листик и горячо заговорил:

— Смотри, называется гинкго. Древнейшее дерево на земном шаре. Порода его существует миллионы лет, понял? — глаза Кравчука блестели. Он говорил с таким увлечением, что его волнение постепенно передавалось Саше. Воспитатель, видимо, сам еще удивлялся сделанным открытиям и старался пробудить интерес к ним у дичившегося хмурого новичка. — Гинкго, видишь ты, было еще до папоротниковых, из которых мы каменный уголь добываем. От него и началось разделение на хвойные и лиственные. Занятно, а? У нас гинкго — редкость. Я в Крыму всего три деревца видел. И там же

видел мамонтово дерево. Оно до четырех тысяч лет живет.

— Ух ты, как долго!

— А сколько разного дива в ботанических садах! Глядишь и не наглядишься. Тысячи и тысячи разных растений. А вот наш Мичурин начал создавать новые виды фруктовых деревьев. Заставляет их расти там, где хочет человек, и приносить новые, невиданные плоды. На севере будут расти какие-то особенные персики, апельсины, лимоны. Скоро вся наша страна украсится садами и цветами. Понимаешь, сколько будет чудес! — И значительно заключил: — Ботаники! Преобразователи природы! Разве плохо этим заняться?

— Они путешествуют, эти ботаники? — привстал Саша.

— А как же? Они по всему свету путешествуют, изучают растения.

— Хочу быть ботаником, — сказал Саша. — Я потому, знаете, чтобы путешествовать, и хочу убежать...

Кравчук сделал вид, что не заметил, как проговорился Саша.

— Или вот мой знакомый геолог-разведчик в вековечных тундрах за Полярным кругом нашел неисчерпаемые запасы каменного угля. Понял? Да с такой, знаешь ли, топливной базой мы преобразуем весь северный край, настроим много новых заводов, городов. И какое же спасибо люди будут говорить этому простому человеку за его открытия! Вот с какой пользой можно путешествовать, Сашук... Понимаешь?

— Понимаю, Трофим Денисович.

Кравчук лукаво ухмыльнулся:

— Но почему же ты раньше не путешествовал?

Саша вспомнил свое горемычное бродяжничество и самому себе показался таким жалким, таким ненужным, что стыдно было взглянуть в глаза воспитателю.

— Какое там путешествие! — нахмурился он и искренне рассказал о своих неудачах.

— То-то и оно, — усмехнулся Кравчук. — Беспризорничество — не путешествие, — чепуха, жалкое нищенство. Чего зря бродить по свету, как бездомная собака, когда везде ты нужен и можешь пользу принести. Наш советский человек — гордый и на нищенство не пойдет. Надо сначала выучиться, стать ученым и путешество-

вать для пользы науки, для пользы народа, как Миклухо-Маклай, Козлов, Пржевальский, как мой знакомый геолог.

«Да, да, надо учиться, чтоб как они»,— подумал Саша. Но, вздохнув, с горечью сказал:

— Так ведь то — ученые, а я, как песчинка, как крот. . .

— Я тоже был, как крот, когда беспризорничал. Так можно, понимаешь, сто лет прожить и ничего не знать. А я поднатужился, сперва школу, потом — педагогический институт окончил. . . Да и теперь продолжаю пополнять свои знания.

— Кто же помог вам стать другим?

Кравчук вздохнул. Да, в самом деле, кто же помог ему стать на ноги и указал правильную в жизни дорогу?

И прежде всего представился Кравчуку человек с угловатым некрасивым лицом, с глазами, проникающими будто в самую глубину души. Это был замечательный воспитатель и учитель — Антон Семенович Макаренко. Явственно вспомнились кирпичные домики на поляне в сосновом лесу — колония имени Максима Горького близ Полтавы, куда когда-то привели грязного и еле прикрытого рваной дерюгой его, Трофима Кравчука, именуемого какой-то устрашающей кличкой. В гражданскую войну белогвардейцы расстреляли его отца и мать за то, что они, панские батраки, вместе с другой голытьбой организовали в панском имении коммуну. Подросток Трофим Кравчук убежал от расправы белых и стал беспризорником.

Да, его воспитал Макаренко, имя которого знали теперь во всех школах и трудовых колониях. А самого Макаренко воспитывала партия большевиков, советская власть.

— Нас, Саша, воспитывает сама жизнь, советские люди, — сказал Кравчук. — Но мне особенно повезло, — меня учил Макаренко, друг самого Горького.

— Правда?! — удивился Матросов.—Дружил с Горьким? Ну, расскажите, пожалуйста.

— Да разве обо всем расскажешь! — взволнованно проговорил Кравчук. — Это же такие люди! Вот у кого можно поучиться знанию жизни, настойчивости и упорству.

Саша глубоко вздохнул:

— Ну, так то ж — Горький и Макаренко.

— Да ты слушай, вот что сам Горький писал нам, колонистам:

«Мне хотелось бы, чтобы осенним вечером колонисты прочитали мое «Детство». Из него увидят, что я такой же человек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моем желании учиться и не боялся никакого труда. Верил, что учение и труд всё перетрут».

— Сам Горький это писал колонистам?

— Да, и письма писал, и даже в колонию нашу приезжал.

— И вы его видели? — почти вскрикнул Саша. — Ну, говорите же, Трофим Денисович, говорите.

Кравчук рассказал, как воспитанники до дыр зачитывали письма Горького, рассказал о незабываемой встрече с ним.

Саша слушал с замиранием сердца, улыбался, хмурился, о чем-то сосредоточенно думая.

А взволнованный Кравчук уже заговорил о другом.

— А как строились города, лучшие дворцы — не знаешь? — И рассказывал о красивейших зданиях мира, об архитектурных ансамблях Москвы, Ленинграда, о возникающих новых городах.

— Архитектором тоже хорошо быть, — прошептал Саша.

— Постой, постой, — рассмеялся Кравчук, потирая руки. — А машины? — и с увлечением заговорил о точнейших машинах, обрабатывающих оптические, измерительные приборы, о турбинах и блюмингах, о моторах, радиостанциях.

— Хочу быть инженером-электриком! — воскликнул Саша. — Или лучше механиком?

Кравчук захохотал на весь изолятор:

— Ну и жадный ты! Может, захочешь еще и картины рисовать?

— И хочу, хочу! — повторял Саша. — Я уже рисовал Днепр...

— Постой, постой, Сашук. А разве плохо быть хозяином металла — сталеваром, токарем, слесарем?

Саша поморщился, вспомнив свою незадачливую учебу у верстака, и вздохнул. Но потом снова заулыбался:

— Так и я ж на слесаря учусь. Ничего, дело идет. — И впервые согрело его тоскующую душу сознание, что и у него есть живое, настоящее дело.

Вершина созвездия Орион уже накренилась к западу: было за полночь.

— Да что ж это я? — вдруг спохватился Кравчук. — Шел по делу и разболтался тут зря...

— Ой, не зря, Трофим Денисович. Так интересно! Да мне бы хоть маленькую долю того знать, что вы...

— Ну, ты больше меня должен знать...

Саше теперь не хотелось, чтобы Кравчук уходил. Он поспешно спросил:

— А почему полевой мак цветет — знаете? Нет? Это сказка про Данько. До чего ж хорошая сказка! Слушайте, я вам расскажу. От одного деда-пасечника узнал! — И Саша стал рассказывать с таким увлечением, что подпрыгивал на койке и взмахивал руками. — Ну до чего же смелый был Данько! Понимаете, ему и золоченые дворцы, и богатую жизнь сулили паны, а он на своем стоял. Даже казни не побоялся!

— Да, были такие, — вздохнул Кравчук, внимательно выслушав взволнованный рассказ Саши, и про себя решил: видно, запала пареньку в сердце дедова сказка на всю жизнь, как добротное зерно, и дала росток. Однако этот росток может одичать и заглохнуть. Значит, нужен ему каждодневный тщательный уход.

Кравчук вынул из-за пазухи книжку и протянул ее Саше:

— Вот почитай. Про Пашу Корчагина. Вот человек был!

Он собрался уходить, но Саша остановил его вопросом:

— А где вы, Трофим Денисович, беспризорничали?

— Не спрашивай, — нахмурился Кравчук. — Никогда больше не спрашивай об этом! Ничего не скажу. Вспоминать тошно. Это как страшный сон.

Саша поморщился и взволнованно спросил:

— Мне еще одно хочется знать. Вот я в изоляторе и вообще... все отказались от меня... А вы тут со мной возитесь. Почему?

— Чудак ты, Саша. Значит, верю в тебя. Ясно?

И еще хотел добавить, какая радость найти в уличном оборвыше человека и указать ему новую, верную дорогу, но ничего не сказал.

Саша посмотрел в глаза Кравчуку, вздохнул:

— Хочется и мне учиться. Только трудно очень.

— Трудно? — оживился воспитатель. — Да, конечно, трудно. — Голос его задрожал от возбуждения. — И Козлову, и Паше Корчагину тоже было нелегко. Хорошее всегда трудом достигается. Подумай только, с каким упорством стремились к знаниям Ломоносов, Шевченко, Горький, Мичурин... Им куда труднее было учиться, чем вам. А перед вами двери всех школ открыты! Отцы ваши завоевали то право. И вы сами не подозреваете, каких чудес натворите: всю землю преобразуете, невиданными машинами будете управлять, и в ракетных самолетах по вселенной путешествовать. Что сказал товарищ Сталин? Нет таких крепостей, каких не взяли бы большевики!

Саша и раньше слышал эти слова, но только теперь начинал понимать глубину их смысла и обрадовался:

— Значит, всё-всё можно уметь?

— Надо только хотеть. Но вот что помни, Сашук: народ человеку дает эту силу, и народу служить надо от всего сердца. Понял?

— Понял, — вздохнул Саша. — А вы большевик, Трофим Денисович?

— Ясно, большевик. А как же.

Саша задумался. Вот он какой, Кравчук! Стал вспоминать, что слышал о нем в колонии. Один из воспитанников рассказывал о таком случае. Кравчук зашел однажды в сапожную мастерскую и сделал замечание сапожнику Еремину. Он обвинил сапожника в нерадивом отношении к своему делу. Еремин ехидно ответил: замечания, мол, куда легче делать, чем сапоги тачать... После этого случая Кравчук стал по ночам упорно учиться сапожному мастерству. Потом, работая рядом с Ереминым, сам сшил сапоги.

— Здо́рово! — удивился Еремин. — Да вы, Трофим Денисович, наверно всё умеете?

Известно также было, что Кравчук прочитал все книги, какие только нашлись в библиотеке колонии.

«Буду, буду и я учиться, — думал Саша. — Выучусь, и весь необъятно-прекрасный мир станет доступным».

И, может, именно он, Саша, поведет дальние научные экспедиции или океанские корабли, будет управлять невиданными машинами. Просто посчастливилось ему, что живет он в стране, где всё возможно и доступно.

Воспитатель помолчал и неожиданно стал суров:

— Ты мне, хлопче, вот что скажи... Мне это очень важно знать. — Кравчук взял его руку, сжал ее. — Скажи, кто готовится бежать из колонии?

Саша вздрогнул и выдернул руку из руки Кравчука. Напоминание о побеге опять вернуло его к прежнему, теперь противному строю мыслей и переживаний:

— Не сердитесь, Трофим Денисович. Не могу сказать... Про себя всё скажу, а про других не могу. Лучше не спрашивайте.

Кравчук не обиделся, но сразу заторопился:

— Ну, пора, пора спать, Сашук. Понятно?

«Постойте, не уходите, еще побудьте со мной!» — хотел крикнуть Саша, когда Кравчук скрылся за дверью, но смолчал, как-то сразу обмяк.

Саша долго ворочался на жесткой койке. Он не мог понять, почему с ним настойчиво возятся такие хорошие люди, как Лидия Власьевна, старик-мастер, воспитатель Кравчук. И вместе с тем он уже чувствовал в себе силу, зовущую на трудную, упорную и осмысленную жизнь. Да, и для него пришла пора выбора житейских дорог, интересных дел. Куда же и на что он тратил свои юные годы? Что было хорошего в его беспокойной бездомной жизни? И поднималось из глубины души всё зароненное туда жизнью — дурное и хорошее. Нет, дурное только щекотало нервы и не давало услады. И вот незабываемое: раздолье Днепра, речные струи, сверкающие на солнце днем и позолоченные огнями Днепрогэса ночью...

«Дидуся, дидуся, что ты мне говорил тогда про жизнь, про людей, про полевой мак, — и слова твои, дидуся, чуть не заросли бурьяном, полынью».

В ночной тиши ветер опять загремел железом на крыше.

Саша замер, прислушался: может, Клыков идет сказать, что к побегу всё готово? Значит, убежать? Куда? Зачем? Но ведь так было решено! А может, остаться? И он заметался на койке, ища решения: бежать — остаться, бежать — остаться...

Надо было всё-всё рассказать Кравчуку. Он бы правильно посоветовал. Теперь Саша вспоминал минуты, проведенные с ним, как праздник. Словно театральный занавес раздвинул перед ним этот душевный Кравчук, показал большие человеческие дела и безграничные возможности...

Что же делать теперь — бежать или остаться? Спазма сдавила горло. И Саша, стыдясь самого себя, уткнулся разгоряченным лицом в жесткий соломенный тюфяк.

Глава VII

«ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО»

Утром в изолятор завтрак принес Тимофей Щукин.

Саша дремал, полусидя и прижимая к груди раскрытую книгу — «Как закалялась сталь» Н. Островского, принесенную Кравчуком. Вскоре после ухода воспитателя он начал ее читать и забыл обо всем на свете. Никогда ни одну книгу он еще не читал с таким захватывающим увлечением и задремал только под утро.

Открыв покрасневшие, воспаленные глаза, Саша удивился, почему завтрак принес именно Тимошка, с которым они разошлись врагами и из-за которого теперь он, Саша, сидит в изоляторе? Видно, это была затея Кравчука. В другое время Саша, может, дал бы Щукину еще подзатыльник, но теперь молча усмехнулся, пристально посмотрев ему в глаза. Тимошка выдержал его пытливый взгляд — значит, чувствовал свою правоту. И в ту минуту, когда они смотрели друг другу в глаза, что-то еще неосознанное согрело их сердца.

— Ну, что смотришь? — спросил Саша.

— Меня прислали, — с достоинством сказал Щукин и ушел.

Саше еще хотелось поговорить с ним. О чем? Он и сам не знал о чем, но поговорить было надо.

К обеду, по распоряжению Кравчука, Сашу выпустили из изолятора. Он остановился в сквере под топольком, поджидая идущего навстречу Тимошку.

Залитая солнцем, яркая майская зелень покрывала окружающие просторы, манила, звала. Слабое дыхание ветерка несло с лугов тонкие запахи цветения. В дубовой роще за балкой Золотухой торжествующе перекликались птицы. Неугомонный соловей даже в неурочное время не мог удержаться и высвистывал замысловатые рулады.

Саша смотрел на веселое весеннее раздолье, на Щукина, такого щупленького, слабого, но теперь будто повзрослевшего.

— Эй, Жак Паганель, сюда иди!

— Я не Жак Паганель. Я Тимофей Щукин. Что тебе?

В самом деле, о чем с ним заговорить? Раньше они будто обо всем переговорили. О последних событиях говорить было трудно, и Саша не знал, с чего начать.

— У тебя ни отца, ни матери нет?

— Нет. Померли.

Саша понюхал тополевый листок.

— Так бежать из колонии не будешь?

— Нет, — решительно покачал головой Щукин.

Саша подумал.

— С тобой Кравчук говорил?

— Говорил, а что?

— Да так, — вздохнул Саша. — Со мной тоже говорил.

— Говорил, да? — повеселел Тимошка. — Ему вдруг захотелось оправдаться перед своим прежним дружком, снова расположить его к себе откровенным признанием и, не дожидаясь ответа, сам заговорил взволнованно и доверительно:

— Ты, Саша, только не сердись, хорошо? Я, знаешь, спросил его: «Трофим Денисович, что такое «компрачикос»? Это слово как заноза впилось в меня. А когда Трофим Денисович объяснил мне, что оно значит, мне еще больнее стало.

— А что такое «компрачикос»?

— Это страшное дело, Саша. «Компрачикосами» называли таких торговцев, что покупали детишек и калечили их: делали горбатыми, карликами, косоглазыми, карнаухими, — словом, чтоб посмешнее были. Потом продавали их королям, князьям и всяким богачам, которые, понимаешь, для смеху держали их, шутами делали.

А Брызгин меня обозвал «компрачикосом». Помнишь? Врет он, не похож я на компрачикоса!

— Ясно, не похож! — подтвердил Саша.

— Ага, вот и Трофим Денисович говорит: «Ну какой ты, Щукин, «компрачикос»? Да я за это, говорит, взбучку Брызгину задам. Вот капиталистов, говорит, да, можно назвать «компрачикосами»: они и теперь торгуют людьми и калечат их душу и тело». А потом Трофим Денисович подумал и, понимаешь, говорит мне: «А вот шутовское, говорит, в тебе что-то есть. Ну, зачем ты всё гримасничаешь, кривляешься, паясничаешь?» Кому, говорит, угождаешь, кого и за что развлекаешь?» И потом, честное слово, так и сказал: «А ведь ты, Щукин, способный человек и, если станешь учиться, из тебя большой толк выйдет. Можешь быть, например, инженером-конструктором или...» — Тимошка вздохнул. — Одним словом, взял он меня тогда в работу, ох, и взял! Говорит: «Зачем гнуться и прислуживать? Обзаводись своим характером. Будь самостоятельным, а мы тебе во всем поможем». И сам пообещал, знаешь, меня в город свезти к врачу, чтоб я не шепелявил...

Он умолк, сам еще не понимая, что же произошло с ним, но всем своим существом чувствуя, что Кравчук сбросил с него какую-то большую тяжесть, как сбрасывают с молодого деревца навал, который давил, гнул, уродовал, закрывал свет и мешал расти.

— А как же Клыков? — тревожно вспомнил Тимошка. — Мстить нам будет!

— Ничего, нас больше, — уверенно сказал Саша. И, подумав, вдруг просиял: — Тимошка, а какую книгу я читал! Какую книгу!..

Вечером они вместе пришли в клуб и первые заговорили с ребятами. Щукина мучила обида, и он подошел к Брызгину:

— А ты, Гоша, соврал. Компрачикосы — это те, кто уродовали детишек, а я ничуточки не компрачикос, — сказал он примирительно.

— Нет, не соврал я,— возразил Брызгин. — Такие, как ты и твои дружки, калечат себя и других. Вон ты весь в шрамах, да еще и подлиза и вертишься, как шут, вокруг Клыкова...

— Сам недалеко ушел, — заметил Саша. — Ходишь, как петух!

— Ну, а что же! — заносчиво сказал Брызгин. — Мои рисунки на городскую выставку взяли. А вот ты...

В обостряющийся разговор вмешался Виктор Чайка.

— Ты не очень-то заносись, — сказал он Брызгину. — Может, эти ребята еще хорошими товарищами будут.

— Я и не заношусь, — понижая тон, ответил Брызгин.

— А ты кем хочешь стать? — спросил Саша Чайку.

— Хочу композитором быть. Мне Лидия Власьевна сказала, что я мелодию здорово чувствую. Я танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» без ошибки играю.

— Ты тоже не очень зазнавайся, — заметил теперь Брызгин. — Кому было сказано: «Учеба, учеба — или ничто».

— А я вот буду токарем и, наверное, великим артистом, — засмеялся Еремин. — Я наизусть всю «Полтаву» знаю! — Подняв рябое скуластое лицо, он с шутливой важностью произнес:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы...

Чайка и Еремин рады, что Матросова потянуло к ним. Им нравился этот паренек с ясным прямым взглядом.

Улучив минуту, Саша отозвал Чайку в сторону и, потупясь, спросил:

— Скажи, почему ты на цеховом собрании, когда все-все отказались от меня, согласился со мной работать?

— Вот чудак! Что ж тут такого? — засмеялся Чайка. — У меня, видишь ли, правило: помочь товарищу в беде. А ты разве не помог бы?

— Не знаю, — покраснел Матросов.

— Ладно, не беспокойся, — сказал Чайка, — у нас дело пойдет.

★

Утром Саша раньше всех вышел на работу. Томясь у верстака, он с тревогой ждал мастера, с которым еще

не говорил с тех пор, как самовольно убежал из цеха. Что-то скажет мастер? Может, с позором выгонит его из цеха?

Наконец мастер появился в цехе. Поодаль Брызгин и Чайка, поглядывая на Сашу, о чем-то спорили. Хмурый, чем-то недовольный мастер подошел к ним:

— В чем дело?

— Таких разгильдяев надо в тиски покрепче зажать! — ответил Брызгин, кивнув на Матросова.

Сашу в жар бросило от этих слов.

Но мастер внушительно ответил:

— Помочь надо, а не отталкивать. Теплым товарищеским словом согреть его надо! Виктор правильно поступил, что согласился работать с Матросовым.

Саша замер. Нет, не придира, а душевный человек мастер, Сергей Львович.

И когда мастер подошел к Матросову и спросил, почему он не работает, Саша, волнуясь, тихо сказал:

— Вас поджидаю, Сергей Львович. Хочу извиниться. Хочу сказать. . . Буду много, буду хорошо работать!

Сергей Львович понял и оценил его волнение.

— Вот и хорошо. — И обратился к Чайке: — Что ж, теперь ему, — кивнул он на Сашу, — можно доверить и посерьезнее работу. Перейдем к опиловке плоскостей. — Подавая Матросову железные квадратные пластинки, он тихо предупредил: — Но если еще раз убежишь из цеха, будешь горько раскаиваться.

Саша покраснел и ничего не ответил.

Когда мастер стал показывать, как надо работать, Саша понял, что он ничего не умеет делать: не умеет правильно деталь зажать в тиски, держать напильник, даже стоять у тисков как следует не умеет. Стыдно было вспомнить, как он раньше хорохорился. Но Сергей Львович больше не хмурился, — добродушно покручивая седые усы, он терпеливо учил новичка.

Оставшись один, Саша горячо принялся за работу. Ему хотелось показать Сергею Львовичу свое старание, умение, свою выдержку. Но без привычки работать было трудно. На руках от напильника набухали и лопались кровавые мозоли. Обливаясь по́том и кривясь от боли, Саша неистово нажимал на напильник, стараясь забыться от беспокойных дум и почему-то стыдясь поднять голову.

Виктор Чайка с тревогой поглядывал на него. Такие, как Матросов, работают неровно, порывами: азартно принимаются за дело, но быстро остывают к нему. Не ушел бы Матросов опять из цеха. Не сбежал бы из колонии.

Перед обеденным перерывом к Саше подошел мастер, молча осмотрел готовую продукцию нового слесаря. Это была неказистая, неумелая работа. Кромки пластинок Саша опилил не точно по линейке: на них были и выемки, и горбинки. Но опытный старый мастер знал, что нельзя окриком расхолаживать новичка.

— Вот и молодчина, дело идет хорошо, — похвалил он Сашу.

Матросов даже вздрогнул от неожиданности. Пряча руки за спину, он подозрительно взглянул на мастера, — не издевается ли Сергей Львович? Нет, глаза у него были добрые, смотрел он сочувственно.

— Человека дело красит. Вижу, стараешься. Постой, да этак ты, прежде чем научишься, калекой станешь. Не прячь, дружок, руки, не стыдись! Это и у меня поначалу было. Неправильно держал напильник. Так надо, — и взял напильник, — вот так ладонь клади, вот так держи пальцами. Надо понимать и чувствовать, когда и с какой силой нажимать на напильник, чтобы опиловка шла точно по линейке.

Начинался обеденный перерыв. Мастер пригласил Сашу в свой кабинет и, чтобы не задевать его профессионального самолюбия, не послал в санчасть, а сам теплой водой промыл его руки, смазал какой-то желтой мазью и забинтовал.

— Ничего, — отечески подбадривал Сергей Львович, — у тебя, я вижу, дело пойдет хорошо. Вот так же, как ты, начинал известный инженер-конструктор Косов. Не слыхал о нем?

— Нет, не слыхал.

— Директор большого металлургического завода на Урале. Тысячи разных машин завод выпустил под его руководством. А ведь этот Косов, после того как белые убили его родителей — партизан, беспризорничал, потом воспитывался в детском доме. Упорный был, настойчивый. Бывало до кровавых мозолей натрудит руки, сто раз перепробует какую-нибудь операцию, а своего добьется!

Саша слушал его вначале хмуро, потом невольно улыбнулся. Дорога́ ему, очень дорога̀ похвала скупого на слова мастера. Что ж, такому можно вполне поверить и довериться, многому от него научиться можно. Он знает все машины, по звуку на ходу улавливает, в чем неисправность, — механизмы повинуются ему, как хозяину.

— А сейчас пока тебе, вижу, трудно, — говорил мастер, забинтовывая руку ученика.

— Трудно, Сергей Львович. Очень трудно! — сознался Матросов. — Трудно, но интересно...

Сергей Львович сразу повеселел, лицо его необычно посветлело от широкой улыбки.

— Интересно? Вот это по-моему! Вначале, конечно, трудно, а потом придет ловкость, сноровка. Почувствуешь себя хозяином инструмента, металла, хозяином машины. Захочешь потом сам придумать какую-нибудь

машину, а? Ведь это именно вы, наша молодежь, и будете творцами невиданных машин.

Саша молчал, смущенно потупясь. Наверное не ему первому мастер говорит такие волнующие слова. Скольким ученикам он терпеливо объяснял всё это! Как сильно надо любить свой труд и людей, чтоб так неутомимо и заботливо учить новичков.

Растроганный заботой Сергея Львовича, Саша поблагодарил его, но уходить не спешил. Саше хотелось еще поговорить с ним. Рассказывали, что единственная дочь мастера недавно умерла.

Саша спросил:

— И вы, Сергей Львович, кажется, одиноки, как я?

— Нет, — ответил мастер. — Мы с тобой не одиноки. У нас много друзей. Только выбирать их надо. Если друзья не помогают человеку развиваться, больше знать, быть лучше, а тянут назад к дурному, — их надо бросить.

«Намекает, — подумал Саша, — думает, я до сих пор дружу с Клыковым». И, вздохнув, сказал:

— Да, теперь-то я буду выбирать друзей... Вот бы мне друга... вроде вас...

— Что ж, можно дружить и со мной, — усмехнулся Сергей Львович. — Но я хочу тебе добра и буду строг...

Саша повеселел:

— И вы мне расскажете, как делаются разные машины?

— Постараюсь.

Саша пытливо взглянул ему в глаза:

— Я вот давно хочу спросить... Можно ли построить тучелов?

— Что, что-о?

— Ну, это... машину, которая ловила бы тучи и направляла их туда, куда захочет человек. К примеру, поля орошать.

— Ого, ты большой фантазер, дружище! — засмеялся Сергей Львович. — Думаю, что со временем будем и тучами управлять. А пока тебе надо хорошо изучить рубку, опиловку металла. А потом — шабровка, шлифовка, притирка, сверленье, резанье металла, да мало ли что! Всё это «трудно, но интересно», — сказал мастер, подкрутив седые усы.

Саша просиял: мастер повторил его слова!

★

Возвращался Саша Матросов в общежитие с новым чувством радости: Сергей Львович поверил в него, назвал его другом. Такие же друзья-доброжелатели и воспитатель Кравчук, и учительница Лидия Власьевна, и ребята — Чайка, Тимошка. Истосковавшись по бескорыстному дружескому слову, он думал теперь об этих людях: «Они все верят мне, добра хотят, а я, как барсук, уходил, прятался от них».

И как бы в подтверждение этих мыслей, Кравчук сообщил ему:

— Завтра будешь работать на перевозе; на лодке через реку перевозить людей по мере надобности. А то в подсобном хозяйстве — спешка. Во-время сев надо закончить. Умеешь грести?

— Умею, — ответил Саша тихо, чтоб не выдать своей радости. Его не только отпускают на реку, но и доверяют ему лодку. И тут же подкралась непрошенная, затаенная мысль: «Вот когда можно бежать!»

С утра на реке было много работы, Матросов перевозил воспитанников, инструменты. Но часам к двенадцати ему уже нечего было делать. Причалив лодку к дубовой коряге, он сидел на берегу и, поглаживая шелковистую прохладную траву, любовался молодой березкой, стоявшей перед ним: «Какая кудрявая!»

Яркозеленые густые ветви березки струились книзу, как расчесанные девичьи косы. Вся в цветущих сережках, освещенная солнцем, она выступала на берег широкой реки, нарядная, праздничная, будто хотела взглянуть в голубое зеркало реки, что лежала в зеленых берегах, как в малахитовой оправе. И так тихо кругом, безветренно. Не шевельнется ни один листик, ни одна сережка. Только птичий перезвон торжествующе разливается по лесу.

И на душе у Саши Матросова — светло и празднично. Кажется, впервые в жизни он ощутил в себе такую большую радость.

Но эту радость омрачила неожиданная встреча с Клыковым. Кравчук, видимо, с умыслом отправил Клыкова на весенние работы в подсобное хозяйство. В колонии Клыков появлялся редко. Саше не хотелось встречаться с ним. Теперь он услышал голос Клыкова

с другого берега и вздрогнул от неожиданности. Клыков звал перевозчика, и Саша обязан был подать ему лодку. Появление Клыкова грубо нарушало душевное умиротворение Саши.

Еще издали, узнав в перевозчике Матросова, Клыков стал бурно выражать свой восторг; когда же лодка подошла к берегу, он, оглянувшись по сторонам, таинственно заявил:

— Матрос, сам аллах подстроил такое... Да лучшего ж и не придумаешь! Гляди, у меня полный мешок: сахар, масло, хлеб, консервы. Месяца на три продовольствия. У тебя — лодка. Да мы с тобой катанем сейчас знаешь куда?!

Матросов молчал.

— Ну, чего ж ты молчишь? — спросил Клыков. — Язык проглотил, что ли? Не раздумывай, лови момент, пока никого поблизости нет. Ищи потом ветра в поле!

— Плавать умеешь? — спросил Матросов, о чем-то думая.

— Как топор плаваю, — сознался Клыков. — Да зачем мне плавать, когда лодка есть?

— Грузи!

Клыков схватил в охапку тяжелый мешок и шагнул в лодку. От тяжести его тела и мешка лодка закачалась и чуть не зачерпнула воды.

— Садись на корму, — приказал Матросов.

Клыков покорно сел и самодовольно засмеялся, потирая руки:

— Ай да мы! Гони сразу на середину реки, чтоб не догнали нас... А меня, знаешь, заставили тащить из колонии в подсобное харчишки и говорят: ты, Клыков, скорей лошади домчишь. Пусть теперь подождут...

Саша молча греб.

— Матрос, а куда нам лучше податься, вверх или вниз по реке? Если вниз, то куда попадем?

— На Каму, потом на Волгу можно выйти.

— Постой, а куда ж ты лодку гонишь?

— К берегу.

— Ты, Матрос, не юли! — вдруг помрачнел Клыков. — Нечего надо мной тут шутки шутить, а то я тебя, как щенка, утоплю.

— Не ерзай, Клыков, а то лодку опрокину, — сам ко дну пойдешь.

— Ты что, супротив меня?

— Не шуми зря, мне свои вещи на берегу надо взять.

— А-а, так бы и сказал, — успокоился Клыков. — Только скорей шевелись.

— Я и так скоро.

Саша, и правда, торопился. Даже волосы на лбу стали влажные от пота.

Вот нос лодки зашуршал по песку и уткнулся в берег. Саша быстро взял весла, взбежал на высокий берег и скомандовал:

— А теперь, приятель, бери мешок и тащи в подсобное!

— Как так в подсобное? — Клыков выпрыгнул из лодки, сжал кулачищи. Одутловатое рябое, в синяках и шрамах, лицо его побагровело. — Значит, правда, что ты нарушил нашу дружбу и тайну?

Саша с отвращением смерил взглядом Клыкова. Куда он зовет, этот беспутный бродяга? Ведь он туп и слеп, как пень. Ничего не знает и знать не хочет. Чувствуя за собой поддержку новых друзей, глядя Клыкову прямо в глаза, Саша ответил:

— Да, правда. Я и Тимошка не хотим бежать из колонии. Не хотим больше бродить, как бездомные собаки. Но твою тайну мы не выдадим. Можешь бежать сам!

— Так я тебя, мурашку, одним ударом пришибу!

Матросов поднял весло:

— Не подходи!

— Ну, запомни, — задыхаясь от злобы, сказал Клыков, — изведу я вас с Тимошкой дотла!

— Попробуй, — усмехнулся Саша, — нас теперь много.

Невдалеке показался Кравчук. Клыков поспешно взвалил на спину мешок и пошел, оборачиваясь и грозя Саше кулаком.

«Вот и не друзья мы больше, а враги, — подумал Саша. — Да Клыков и не был мне настоящим другом».

Саша не боялся угроз Клыкова, хотя тот был способен на всё. Но эта встреча оставила горький осадок и смутную тревогу.

Клыков стал мстить тщедушному Тимошке Щукину за его отказ от побега. То ударит его при случае, то обругает зло и противно. Потешаясь, раз в клубе обле-

пил его курчавую голову цепкими колючими головками репейника.

Саша вступился за Тимошку.

— Если еще раз хоть пальцем тронешь Тимошку, — худо тебе будет! — сказал он Клыкову, грозно прищурив глаза.

— Я тебя в бараний рог скручу! — мрачно усмехнулся тот.

Но из-за спины Саши раздались голоса ребят:

— Посмей только тронуть Сашу! Все заступимся. Дадим жару!

Саша оглянулся. Тут были Еремин, Чайка, Брызгин и другие товарищи. Они стеной выступили вперед против Клыкова. Тот заявил, что никого не боится, пригрозил расправиться с каждым из них, но попятился назад и, ругаясь, отошел.

Тимошка Щукин отвел Сашу в сторону и, глядя ему в глаза, сказал:

— В огонь за тебя пойду за то, что вступился!

Саша хорошо знал цену этому признанию одинокого паренька.

— Ничего, в обиду тебя не дам, братишка.

Растроганный Щукин схватил Сашу за руку:

— Будешь вроде братишки моего?

— Да, ты будешь моим братишкой названым, — сказал Саша, постигая значительный смысл этих слов.

А Клыков наблюдал за ними издали и всё грозил кулачищем.

Глава VIII

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

Вскоре Саша дежурил по корпусу. Закончив осмотр помещений, он вышел, сел у двери на скамеечке. Предзакатное июньское солнце еще заливало светом зеленые луга и леса. Воздух был напоен запахом лугового и огородного цветения. В рощах звенел неугомонный птичий грай. А Саша грустил. Трудно ему было разобраться в противоречиях. Ему нравилась спокойная, разумная жизнь в колонии, но всё еще манили путешествия.

Последние дни его часто видели где-нибудь в углу перед стопкой книг.

С ненасытной жаждой он читал всё новые и новые книги, делал из них выписки и, не в силах оторваться, снова читал.

Он открыл свою тетрадь и прочел:

«Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. К чорту людей, не умеющих жить полезно, радостно, красиво!»

Подняв голову, он глянул в солнечную даль... «Полезно, радостно, красиво»... И, вспомнив Клыкова и своих прежних замызганных спутников бесцельного бродяжничества, с отвращением тряхнул головой, точно стряхивая дурман:

— Довольно! Куда они тянули меня?

— Ты с кем ругаешься? — спросил Кравчук, выйдя из-за угла.

— Сам с собой, — смутился Саша. — Посидите со мной, Трофим Денисович.

Кравчук сел рядом, вытер потный лоб:

— Парит как. Видно, к грозе.

— И до чего ж хорошо, Трофим Денисович! — повеселел Саша. — Чуете запахи? Только я не пойму, что́ пахнет. В огородах ли что цветет или травы на лугах? Раньше и не примечал такого.

— Это хорошо, — взглянув на него, ответил Кравчук, — учись чувствовать и понимать жизнь. Ну, а скажи, — путешествовать тянет?

— Страсть как тянет! — И задумчиво добавил, шевеля палочкой зеленую траву: — Только я учиться сначала буду. Знаю: так труднее, зато верней. А слепым кротом жить неинтересно.

Минуту они взволнованно молчали.

— Так, значит, учиться хочешь? — усмехнулся втайне торжествующий Кравчук. — Да, тебе надо наверстать упущенное, — поотстал. Вот на учебе и проверь себя, есть ли у тебя упорство в достижении цели. Если есть, — человеком будешь.

Саша задумчиво кивнул головой:

— Побеждают только сильные духом.

— А кто это сказал?

— Николай Островский.

— Да, так, — подтвердил Кравчук. — Самое страшное для советского человека — сознание своей бесполезности. А чем больше будешь учиться и знать, тем и пользы от тебя людям больше. Умный человек преодолеет любые трудности, а цели своей достигнет. — Кравчук серьезно взглянул Саше в глаза. — Вот еще золотые слова Островского: «Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе! — говорил он молодежи.

— Хорошие слова! — вздохнул Саша. — Хочу, Трофим Денисович, очень хочу быть лучше, только помогите мне, не жалейте, требуйте, чтоб я всё делал как надо. Не я буду, если не добьюсь своего! Верьте совести, добьюсь.

— Помогу тебе быть лучше, — усмехнулся Кравчук. — Но с условием: не криви передо мной душой, говори всю правду. Согласен?

— Согласен, — решительно ответил Саша.

Но уже ближайшие события показали, как трудно выполнять условия воспитателя.

Кравчук решил вывести Сашу на дорогу общественной жизни. По его совету Сашу выбрали председателем санитарной комиссии.

На другой день Кравчук заметил:

— Что ж ты? Председатель санитарной комиссии должен быть примером чистоты и аккуратности, а у тебя и рубаха и тельняшка испачканы.

Саша промолчал, а в обеденный перерыв сам выстирал в пруду рубаху и тельняшку.

Когда шел от пруда, встретил Щукина.

— Тимошка, да ты прямо позоришь меня! А еще братишка названый. Рубаха — как у трубочиста, пуговицы оборваны, на животе — дырка. Смотреть на тебя страшно!

— Так я не умею стирать и шить.

— Вот неумелка! Ну, снимай рубаху!

Саша выстирал Тимошке рубаху, пришил пуговицы. Потом пошарил у себя в кармане и вынул завалявшуюся конфетку, которую получил от воспитателя Четвертова и приберегал для Тимошки.

— Ну, бери, что ли! — строго сказал он.

Взволнованный Тимошка вдруг проговорил:

— Знаешь... знаешь, я стащу для тебя на кухне сахару!

— Тогда совсем откажусь от тебя, — помрачнел Саша. — Забыл уговор?

— Ну, не буду. Не сердись. Только ты мне родней всех.

Саша вошел в общежитие веселый, с сознанием хорошо выполненных обязанностей, но увидел там хмурого Кравчука и насторожился. Кравчук тут же сделал ему несколько замечаний:

— На столе и на тумбочках разбросаны разные вещи, а каждая вещь должна быть не брошена, а положена на свое место. Понятно? На полу — клочки бумаги, а под ноги даже на улице ничего бросать нельзя, — ясно? Вчера вечером ты громко стучал сапогами, когда шел мимо спящих товарищей, а надо было пройти на носках, оберегая их покой. Чутким надо быть. Понятно?

Матросов обиделся, сдвинул брови:

— Вы просто придираетесь ко мне. Всё не так. Не угодишь вам!

— Нет, не придираюсь, а требую, потому что добра тебе хочу. Ясно? А ты, видно, еще не хозяин своего слова и пускаешь его на ветер. Сам ведь говорил, что хочешь быть лучше, и просил требовать. .

— Ну и буду хозяином своего слова. Буду!

Глава IX

УРОК ИСТОРИИ

Воспитанники спешили в клуб, где уже бурлило безудержное веселье. Это была вечерняя пора, когда трудовой день закончен, а до начала интересного кинофильма — еще целый час.

Тимошка Щукин бегал по клубу, спрашивая, не видал ли кто Матросова. Без дружка у Тимошки и веселье — не веселье.

Саша сидел в Ленинской комнате, склонясь над раскрытыми книгами и тетрадями, когда ворвался сюда запыхавшийся Тимошка.

— Сашка, ну чего ты один киснешь тут?

— Не кисну — уроки готовлю,— хмуро ответил Саша.

— Какие там уроки? В клубе так весело, — всё каруселью кружится. Еремин, понимаешь, надел вывернутый тулуп и медведя изображает. Все до упаду хохочут. Чайка с ребятами новую песню разучивает. Велел и тебя тащить, — нехватает, видишь, тенора в хоре. Ну, идем же скорей, Сашутка.

— «Идем, идем», — недовольно проворчал Саша, — а уроки ты за меня сделаешь? Очень весело будет, если получу двойки по географии и по истории древнего мира.

— Да зачем двойки? У меня выписаны все даты и имена, — Тимошка вытащил из-за пазухи клочок бумаги. — Потом подзубрим. . .

Саша заколебался: и правда, очень хочется попасть в клуб.

— Идем, — согласился он.

Они вышли во двор. Из клуба уже доносился веселый шум. Тимошка, задорно подсвистнув, хотел стремглав бежать к клубу, увлекая за собой дружка.

Но Саша вдруг остановился, задумался. Точно преграда перед ним встали вспомнившиеся слова Кравчука: «Заставь себя, если не хочется, работать...» Саша озлился на самого себя: «Я ж ему обещался. Так есть у меня это упорство или нет?» Да, он, Саша, уже немного подтянулся, и все стали лучше к нему относиться. Нет, стыдно ему теперь получать на уроке двойку или плавать с Тимошкиными датами... Нет, не будет он посмешищем в классе!

— Я не пойду в клуб, — резко сказал Саша.

Тимошка рассердился, снова стал доказывать, сколько удовольствий ждет их в клубе, даже пригрозил, что кончится их дружба. Но Саша был тверд в своем решении и вернулся.

Он снова склонился над учебником древнего мира и скоро позабыл о клубе.

Во мгле веков перед его воображением проходили судьбы народов, выдающихся людей. Вот несметные богатства египетских фараонов. Вот измученные жестокостью хозяев и голодом бесправные рабы и крестьяне восстают против своих угнетателей, громят царские чертоги. Но рабы не умеют устроить свою жизнь, отстоять свободу. Их снова заковывают в цепи. Вот возникают и потом гибнут целые государства: Египет, Ассирия, Вавилон...

Увлекшись, Саша читал страницу за страницей, и перед ним всё шире открывалась жизнь и борьба народов. Он уже постиг прелесть познания, когда каждая страница книги, каждый час, каждый день открывали перед ним что-нибудь новое, волнующе интересное, и всё больше овладевала им жажда знания. И теперь ему уже скорее хотелось узнать, как в древности жили люди Индии, Китая, Греции. Хотелось почитать и поэмы — «Илиаду» и «Одиссею», которые в учебнике кратко изложены. Он читал, задумывался: «Ой, как прав был дед Макар, когда говорил, что на земле было людей много, как песку морского; жили они, боролись за свое счастье, умирали, но никто из них не знал настоящего счастья, доступного только советскому человеку!» Саша с жад-

ностью перелистывал учебник, искал наиболее интересные места и снова впивался глазами в книгу.

Когда в коридоре зашумели ребята, возвращаясь из клуба, он читал уже о восстании Спартака. Услышав шум, Саша вздохнул с сожалением, что не побывал в клубе, но тотчас же успокоился, решив, что и он не зря просидел тут. Скоро стало тихо. Видно, все спать улеглись. Он продолжал читать.

Учительница Лидия Власьевна заполночь увидела свет в Ленинской комнате. Матросов, положив голову на раскрытый учебник, сидя спал, когда она туда вошла.

Она часто помогала Матросову. Порой, одолевая трудности учебы, Саша терял веру в свои силы, опускал руки. Лидия Власьевна всегда умела найти нужное слово, чтобы подбодрить павшего духом ученика, вновь и вновь зажечь его сердце страстью к знанию. Но теперь, заглянув в учебник, она недовольно нахмурилась.

— Почему спишь на книге, а не на подушке? — спросила она, когда Матросов, проснувшись, виновато тер кулаками глаза.

— Уроки готовлю.

— Подготовил?

— Ой, нет, — спохватился он, — не успел еще по географии широту и долготу... а по русскому — суффиксы.

— Нельзя так бессистемно заниматься, — строго сказала Лидия Власьевна. — Уроки не подготовил, а уже читаешь то, что в следующем классе проходят. Да еще в неположенное, ночное время.

Он с отчаянием махнул рукой:

— Ничего у меня не получается. Совладать не могу с собой. Вот зачитался, а время не рассчитал. Да еще уснул.

Учительница теперь подбодрила его:

— Зря так говоришь. Ты уже многого добился. Но еще не умеешь разумно распределять свое время и силы. Ладно, иди спать.

Он ушел недовольный собой: учительница, видно, плохо теперь подумает о нем.

Тем больше он был удивлен, когда на следующий день Лидия Власьевна на собрании класса предложила

избрать его классным организатором. И совсем смутился, когда ребята заспорили: достоин ли он избрания?

— Он задира! — повторяли одни.

— Зато всю правду в глаза говорит! — возражали другие.

— Больно язычок у него острый, как перец.

— Он верный товарищ и в цехе работает хорошо.

— И по учебе в школе многих обогнал.

Саша краснел, поеживался: не очень-то приятно, когда на собрании во всеуслышание говорят о твоих недостатках да еще при учительнице. Но большинство одобрило его кандидатуру, и он был избран классным организатором.

Лидия Власьевна сказала ему:

— Доверие товарищей, доверие Родины — это самая большая награда для человека. Ведь доверяют только честным людям. Оправдай это доверие в любых обстоятельствах.

Саша запомнил слова учительницы.

Вскоре на поверочном испытании по истории древнего мира учительница спросила Тимошку:

— Ну, Щукин, что ты знаешь об ассиро-вавилонской культуре?

Тимошка встал и умоляюще покосился на сидящего рядом Сашу, чтобы тот подсказал. Но Саша смущенно опустил голову.

— Ну, что ты знаешь о культуре Двуречия? — спросила Лидия Власьевна. — Кто ее создатели? Кто такие шумеры? — доброжелательно задавала она явно наводящие вопросы. — Что называется Двуречием? Какая долина между Тигром и Евфратом?

Но Тимошка переступал с ноги на ногу и молчал.

В классе послышался шопот, потом тихий говорок. Кое-кто поднял руку. Саша взглянул на незадачливого друга и поспешно отвернулся, краснея от стыда за него и за себя.

— Ну, от кого и чему научились ассирийцы и вавилоняне? Была ли у них письменность и какая?

Тимошка молчал. Не поднимал головы и Саша, точно ему было так же неприятно и трудно, как и Тимошке.

Лидия Власьевна, заметив необычно унылый вид Матросова, спросила его о фараоне Хеопсе. И Саша неожиданно четко и бойко рассказал о Хеопсе и с особым

оживлением стал говорить, как по приказу Хеопса рабы и крестьяне всего Египта строили ему величайшую гробницу-пирамиду, строили тридцать лет, работая стотысячными отрядами, по три месяца каждый отряд, как тысячами строители гибли от изнурительного труда и заразных болезней.

Сашу слушали все очень внимательно, что было признаком успеха. Приободрившись, он позволил себе даже некоторые вольные сравнения вроде того, что, мол, фараоны на костях многих тысяч людей по глупому капризу возводили гигантские бесполезные сооружения, затрачивая несметную человеческую силу, какой хватило бы на строительство сотен Днепрогэсов, на благо всего народа.

Лидия Власьевна остановила его:

— Довольно. Молодец! Хорошо.

И он сел, взволнованный, сияющий. Потом взглянул на Тимошку. Тот, уткнувшись в парту, смахивал слезы. Сразу померкла и Сашина радость. Но горе Тимошки казалось уже совсем безутешным, когда на другой день он узнал, что Лидия Власьевна вывела ему оценку — два, а Саше — пять.

— Почему ты мне тихонько не подсказал? — накинулся он на Сашу. — Теперь я пропал с этой проклятой двойкой. На весь год позор. А еще братишкой называется! По-дружески это — не выручить, когда товарищ погибает? Почему даже писульку не подсунул?

— «Почему, почему»,—смущенно насупился Саша,— потому что я и сам не знал.

— Да, ты не знал, но у тебя пятерка. Отличник! А я всё хорошо знал, кроме этой несчастной ассиро-вавилонской культуры, и у меня — двойка. Петля на шее.

Горе дружка так поразило Сашу, что он сутки ходил сам не свой. Много думал и решил, что его собственная удача — случайная и отличную отметку он получил незаслуженно, даже бесчестно, скрыв от всех свое плохое знание предмета; значит, он обманул и товарищей и любимую учительницу.

На другой день в классе, на удивление всем ученикам, Саша поднял руку, попросил разрешения говорить и заявил Лидии Власьевне:

— Я не заслужил пятерку по истории древнего мира.

Меня спросили о том, что я хорошо знал, а остальное я знал плохо. А Щукин, наоборот, всё знал хорошо, а не знал только того, о чем его спросили. Верьте совести, Лидия Власьевна, это правда. И прошу пересмотреть оценки мою и Щукина.

Лидию Власьевну удивило и растрогало это заявление. Она, правда, вслух пожурила Щукина и Матросова, что они оба, значит, плохо готовились к испытанию, если получилось такое недоразумение, но стремление одного из них к душевной чистоте порадовало ее.

— Что ж, хорошо, что Матросов честно признал свою недостаточную подготовку и хлопочет за товарища. Так и быть. Я снова спрошу вас обоих.

Во время перемены ребята, озадаченные поведением Саши, сразу обступили его:

— Вот же чудак! Ну чего тебе еще было надо? Получил пятерку и помалкивай. Кто бы знал, что ты не подготовился?

А когда после переэкзаменовки Тимошка получил оценку — три, а Саша — четыре, некоторые ребята стали злорадствовать:

— Достукался? Вот же чудак, сам на рожон полез!

И потом ребята заспорили между собой, — правильно ли поступил Саша. В спор вступили ученики и других классов.

А Саша расхаживал с повеселевшим Тимошкой и чувствовал себя победителем:

— Зато всем хорошо и мне хорошо. А отметку поправлю.

И ребята, как ни спорили о нем, верили: прямой он и верный товарищ, и слово его не разойдется с делом.

Саша и старался быть таким. Почуяв в себе силу, он с помощью Лидии Власьевны, Трофима Денисовича и Сергея Львовича наверстывал упущенное. Он учился с завидным упорством.

В цехе ему помогал Виктор Чайка. Как настоящий друг, он охотно, без зазнайства и насмешек учил Александра. И тот, не стыдясь, задавал Виктору любые вопросы. Матросов делал пока простые дверные замки, но уже начинал постигать сокровенный смысл перехода от простого к сложному, от замка к машине, ощущая радость успешного овладения мастерством, радость трудового творчества.

А из-за угла на него злобно косился Клыков. Еще вчера он стащил у Матросова из ящика ценные и необходимые инструменты: напильники и штангенциркуль. Матросов догадывался, чья это проделка. Ему тягостна была глухая, непрекращающаяся вражда с Клыковым, а жаловаться не хотелось, он считал это малодушием.

К Саше подошел Сергей Львович. Он был доволен Матросовым, старательным, пытливым учеником, но видел еще и немало недостатков в его работе. По опыту зная, когда надо похвалить, а когда повысить требовательность, Сергей Львович добродушно поворчал:

— Да, не вижу я у тебя настоящей культуры труда. На верстаке непорядок: нужный инструмент должен лежать под рукой, чтоб не терять время на его поиски. А всё лишнее надо убрать. Ты делаешь ненужные, непроизводительные движения, а время надо беречь. Долю секунды сэкономишь на каждом движении, а к концу дня получается много. Секунда — час бережет. Из мелочей — большое складывается. — Сергей Львович пригляделся к опиливаемой Матросовым детали. — Так, а вот здесь можно бы уже не драчевым, а личным напильником, а блеск навести — бархатным.

Матросов насторожился: «Может, Сергей Львович знает, что у меня украдены эти напильники? Сказать ему, что я подозреваю Клыкова? Но Клыкова и так ведь никто не любит».

— Что ж, — продолжал мастер, — теперь можно дать тебе и посложнее работу. Только надо больше любить свое дело, тогда и порядок будет у тебя во всем.

— Подтянусь, Сергей Львович, — сказал Александр, с уважением глядя на сгорбленную спину уходящего мастера.

Александр чувствовал себя теперь полезным, нужным человеком и потому был постоянно весел, общителен и жизнерадостен.

— Трудно, зато и интересно, — подмигнул он Виктору Чайке, блестя озорными глазами, полными молодой задорной силы.

Глава X

ВОЙНА

Щедро пригревало июньское солнце. В синем небе таяли белые облака, отражаясь в зеркале пруда. Ребята сидели под ветвистой ракитой. Обычно они вперегонки бежали к пруду, быстро раздевались и прыгали в воду. Сегодня было так хорошо кругом, что они решили посидеть немного под деревом.

Саша лежа на спине нюхал белорозовый цветок тысячелистника и смотрел на тающие в небе облака.

— Вон орел за тучу залетает, — сказал вдруг Брызгин. — Это беркут.

— Нет, белохвост, — сощурился Еремин.

— Что вы, — гриф! — поправил Саша и снял тельняшку, чтобы с разгону кинуться в воду.

Он задумчив. В эту весну успешно окончил шестой класс и переведен в седьмой. В колонии он подрос, окреп. Старался вести себя как взрослый, хотя еще уживались в нем мальчишечьи повадки. Иной раз хотелось Саше побежать вперегонки, побороться с кем-нибудь, промчаться по двору с подскоком. Но всё чаще задумывался он о жизни, и росло у него желание больше знать. Будто всё шире открывались на мир глаза и видели в нем всё больше неведомого, неузнанного.

Радиоволны несли со всех концов страны волнующие вести. По вечерам и заполночь Саша засиживался в клубе, с увлечением просматривал газеты и журналы.

Уже для всех были очевидны плоды сталинских пяти-

леток, на глазах преображалась страна. Советские люди прорывали каналы, орошали пустыни, осушали болота и на обновленной земле собирали небывалые урожаи.

Сашу радовало и расширение лимонных и апельсиновых рощ в субтропиках, и создание промышленных городов и мичуринских садов в Заполярье. Всемогущий советский человек преобразовывал природу, раскрывал сокровища земных недр. С гордостью повторял Саша слова песни: «Посмотри, как цветет без края, вся в сиянье, страна родная». Приятно сознавать, что и он сам по праву входит в великую трудовую семью всесильного народа-преобразователя.

Саша смотрел ввысь и не мог понять, куда деваются бесследно тающие там облака. Смотрел и вслух мечтал о новой чудесной машине, с помощью которой человек будет управлять ветрами и тучами:

— Интересно, какой же он будет, тучелов?..

Внезапно ворвался в безмятежную тишину резкий выкрик Виктора Чайки:

— Ребята, война! Молотов по радио говорит.

На секунду все оцепенели: слишком неожиданной была страшная весть в этот солнечный благоухающий день. Потом, позабыв про купанье, они помчались к клубу. Саша бежал впереди. Теперь ни к чему эти тающие белые облака, ни к чему и тучелов. Грозное событие заполнило сознание.

Саша, тяжело дыша, прижался к бревенчатой стене клуба. Сюда, к громкоговорителю, собирались люди. Лица у всех суровы. Безмерен их гнев на врага, бандитстки напавшего на мирную цветущую страну.

В самой колонии до этого часа жизнь шла весело, бурно, осмысленно. Эту жизнь радостного труда и волнующих надежд враг оборвал сразу — грубо и беспощадно. Страшная опасность угрожала всему дорогому и близкому, самой жизни страны и народа.

Там же, прижавшись к бревенчатой стене и тяжело дыша, он слушал третьего июля выступление по радио товарища Сталина.

Солнце пекло в лицо, а Саша, прищурив глаза, стоял недвижно и мысленно повторял слова вождя, проникавшие в самую глубину души:

«К вам обращаюсь я, друзья мои», — говорил тихий и такой родной голос. Он, Сталин, звал на борьбу за

счастье людей. Его слова были обращены и к нему, Александру, — гражданину великой страны. И его, и всякого, у кого чистое сердце бьется заодно с сердцем народа, Сталин называл другом. Чем же, какими делами, он, Александр, ответит на призыв народного вождя?

Он теперь ясно понял смысл надвигающейся опасности. Да, Сталин прямо сказал, что дело идет о жизни и смерти всех народов Советского Союза, но он тут же выразил непоколебимую уверенность, что враг будет разбит, и указал, как достигнуть победы. Надо только каждому, и ему, Александру Матросову, в том числе, найти свое место в борьбе.

На митинге, после выступления учителей и воспитателей, попросил слова и Саша:

— Товарищи, — сказал он, — война касается нас всех. Вот нас учат, бесплатно дают нам пищу, одежду, жилье. Кто это дает? Она, мать наша — Родина. И мы в обиду ее не дадим. У всех советских людей одна забота, одно дело кровное — побить фашистов. Верно?

— Верно! Правильно! — зашумели ребята.

— Верьте совести, буду работать как могу лучше.

С того часа всё пошло по-иному.

Ребята стали серьезнее. Мебельная фабрика колонии всё больше получала срочных заказов, и воспитанники, поднявшись в шесть часов утра, работали до позднего вечера. Потом жадно слушали радио, читали и обсуждали написанное в газетах.

В первые дни Саша был задумчив, работал до изнеможения. Как-то он обратился к Кравчуку:

— Трофим Денисович, уважьте мою просьбу.

— Какую?

— Не могу я тут киснуть, когда фашисты к нам лезут... Похлопочите, чтоб меня отпустили на фронт.

— Нет, не похлопочу.

— Почему? Вон Павел Корчагин в мои годы уже на какие большие дела шел! Не подведу и я. Верьте совести, не подведу.

— Если ты здесь киснешь, то на фронте и подавно захнычешь. Понятно? Нашей мастерской дают военные заказы. Работой будем помогать фронту. Вот тут и проверь себя: годишься ли ты на трудные дела? Да и не возьмут тебя на фронт. Ведь тебе года не вышли.

Александр смирился, на время притих.

Колония изготовляла ящики для снарядов, гранат и патронов, учебные винтовки, маскировочные сети. Воспитанники старались перевыполнять норму.

Саше в слесарно-механический цех то и дело приносили точить пилы — поперечные, циркульные, ленточные, ручные ножовки и другой инструмент. Александр понимал: чем скорее он выправит, наточит этот инструмент, тем скорее пойдет работа в цехах.

Вначале он неохотно перешел на эту работу — по сути простую и однообразную. Ему хотелось работы посложнее, но приходилось делать то, что было нужнее. И работать надо было как можно лучше, как можно скорее.

Три заветных слова — «Всё для фронта!» — волновали каждого честного человека, звали на трудовые подвиги. И Александр, склоняясь над тисками, мысленно представлял себе: в затемненных цехах заводов и на колхозных полях, в шахтах и кабинетах ученых — всюду советские люди с предельным напряжением дни и ночи трудятся для фронта, работают с мыслью о дорогом и мудром человеке, который руководит небывалой битвой за мир и счастье людей.

Александру Матросову тоже хотелось внести и свою долю труда. Вначале Виктор Чайка и Георгий Брызгин обгоняли его, но Александр учился у Сергея Львовича выбирать напильники по твердости закалки и форме насечки самые лучшие и с каждым днем всё больше овладевал искусством своей работы. Изо дня в день он повышал нормы выработки — сто пятьдесят, двести, триста процентов.

Его имя записали на доску почета рядом с именами других стахановцев.

— Молодец, Матросов! Орел! — похвалил его мастер. — Рад за тебя.

— Вам спасибо, Сергей Львович, — научили.

— Родине спасибо, это она учит нас. Но у тебя есть еще недостатки: ты после работы инструмент бросаешь в ящик навалом, кое-как. А утром теряешь время, роешься, ищешь нужное. Есть золотое правило: всякое дело надо доводить до конца и делать как можно лучше — будь то большая производственная операция или какая-нибудь мелочь.

Заметив унылое выражение на лице у Саши, мастер спросил:

— А почему в последнее время ты стал такой хмурый, невеселый?

— Так ведь война.

— Именно потому, что война, и надо нос не вешать, а быть бодрым. Нам всё ясно: за станком — получше работай, в бою — крепче лупи врага. — И подмигнул: — Ведь орел ты, а не чижик, а? — Глаза его ласково светились: рад успеху ученика.

Саша повеселел: дорога ему похвала и шутка старого, молчаливого и взыскательного, мастера. Захотелось работать еще лучше.

Вечером после работы он вбежал в клуб, веселый, быстрый, как ветер. Уставшие ребята жались по углам.

— Почему тихо? Что приуныли? — воскликнул он, оглядываясь вокруг. Потом озорно подмигнул: — Орлы

вы или чижики? Эй, Виктор, давай баян, начинай песню!

Лица ребят просветлели. Виктор Чайка, скосив глаза, заиграл на баяне, — полыхнула широкая песня, и тесно уже ей в стенах клуба.

К словам Матросова всё чаще теперь стали прислушиваться товарищи.

На собрании обсуждался важный вопрос.

В колонию пришла телеграмма, в которой говорилось, что фронту срочно нужны боеприпасы, а отгрузка их задерживается: нехватает ящиков. Между тем на фабрике выросла гора ящиков, но вывезти их невозможно: осенние дожди размыли дорогу, по которой обычно вывозили изготовленные ящики для снарядов. По глубоким ухабам нельзя было проехать ни на автомашине, ни на телеге.

Мастер Сергей Львович развел руками:

— По-моему, есть только один выход из трудного положения — носить ящики до шоссейной дороги.

— Не ишаки мы, — пробурчал Клыков.

Собрание зашумело: одни зашикали на Клыкова, другие стали защищать его.

Матросов был в задних рядах. Чтобы увидеть стол президиума, он приподнимался на цыпочки. На стене висел большой портрет Сталина. Зоркие глаза вождя смотрели на Сашу в упор. В этом взгляде Александру чудился укор. Он понимал: в ответ на призыв вождя рудокопы, сталевары, литейщики, токари, слесари изо всех сил стараются, чтобы скорее и больше дать фронту снарядов, а готовые снаряды переправить нельзя, нет упаковки. Как может Клыков отказываться от работы? Почему он прекословит старому, всеми уважаемому мастеру и сбивает других с толку?

Не в силах больше молчать, Матросов протиснулся вперед, попросил у председателя слова:

— Дело, товарищи, ясное. Продукция наша нужна для фронта. Я поддерживаю предложение Сергея Львовича. Нужно носить ящики на себе до шоссейки, а оттуда — на грузовиках.

Некоторые воспитанники перешепнулись с Клыковым и засмеялись: предложение казалось несбыточным. От фабрики до шоссейной дороги — больше километра. Клыков крикнул:

— Машину и лошадку Сашка заменит!

Саша вообще любил шутки, но теперь брови его сурово сдвинулись, и он, маленький, в стеганом ватнике, весь съежился.

— Да, машина не может, лошадь не может, а мы сможем. На фронте враг лезет. Наши пушки, может, снарядов ждут, а их нельзя переправить без наших ящиков. Подумали про то? — И злобно взглянул на Клыкова: этот лентяй всегда поперек дороги... — А слабосильный Клыков, — продолжал Саша, — пусть отдыхает и сладенькой кашкой питается.

Товарищи шумно засмеялись. Много друзей у Саши, его поддержали. Предложение Сергея Львовича и Матросова приняли, и на другой день после работы на фабрике воспитанники по лужам и рытвинам понесли на плечах ящики к дороге. Впереди всех шагал Саша.

Потом каждая смена относила изготовленные ящики, пока не поправили дорогу.

Саша учился у старших, перенимал их сноровку. А ему подражали товарищи. Им нравились его прямота, смелость и ловкость в работе. Люди любят умельцев-смельчаков. Как-то Виктор Чайка о нем сказал:

— На работе он первый и товарищ верный. В обиду слабого не даст и всегда возьмет не силой, так умом и ловкостью.

— Верно! — согласились ребята.

Но Саша, всегда недовольный собой, даже рассердился:

— Будет вам меня расписывать! Противно слушать! Вон сам Виктор Чайка уже делает измерительные инструменты—кронциркули, угольники, нутромеры. Освоил опиловку плоскостей и фигурных поверхностей. Скоро будет настоящим слесарем-лекальщиком. Брызгин хорошо работает по чертежам. А я только и умею, что полегче да попроще. Драчевым напильником и зубилом и то кое-как владею.

И еще тревожило Сашу вызывающее поведение Клыкова. Тот не скрывал своего враждебного к нему отношения, всё что-то замышлял, угрожал и мешал во всяком деле.

Глава XI

УЧИТЕЛЬНИЦА ЛИДИЯ ВЛАСЬЕВНА

Надвигалась первая военная зима, лютуя вьюгами и морозами. С фронтов доходили грозные вести: гитлеровцы подошли к Москве, блокировали Ленинград, осаждают Севастополь.

Как-то раз Саша пришел к Кравчуку и с обычной доверчивостью и торопливостью забросал его разными вопросами.

Кравчуку всё труднее становилось отвечать на вопросы Саши: их возникало у него всё больше и больше. Кравчук рылся в книгах, чтобы удовлетворить любознательность своего воспитанника, которую он сам же и пробудил.

Выслушав Сашу, Кравчук грустно усмехнулся:

— Последний разок отвечу тебе, Саша, а потом пусть другие отвечают. Хороший воспитатель Четвертов, он будет. . .

— А вы куда?

— Сегодня отправляюсь в военкомат. Добровольцем на фронт иду.

Саша задумался. Добровольцем? Да, он так и должен поступить: слово воспитателя не может расходиться с делом. Но как жалко расставаться с этим душевным человеком, который стал роднее отца!

— Возьмите меня с собой, — тихо, но требовательно попросил Саша.

— Нет, не имею права, — ответил Кравчук.

— Но, верьте совести, Трофим Денисович, мне в

горло кусок хлеба не лезет. Я спать по ночам не могу, когда узнаю, что фашисты занимают наши города. Как я ни стараюсь работать, — вижу, что всё равно этого мало. Возьмите с собою, возьмите!

— Нельзя! Понял? — резко сказал Кравчук, дивясь настойчивости своего воспитанника. Кто мог подумать, что у этого с виду беззаботного и веселого паренька таится такое скорбное беспокойство? — Твоя пора еще не пришла. Здесь ты должен заработать аттестат на зрелость. Понятно? Ну, я спешу. — И порывисто обнял его. — Надеюсь на тебя, Сашок. Прощай.

— Прощайте, Трофим Денисович, — голос Саши задрожал. — Верьте совести, стыдно вам за меня не будет. И напоследок скажу еще: если б вы тогда, в изоляторе, не поговорили, не поверили мне, я обязательно убежал бы. Что бы тогда со мной было? Никогда я вас не забуду.

— При чем тут я? — возразил Кравчук. — В нашей стране невозможно человеку пропасть. Это в капиталистических странах такие оборвыши, каким был ты, гибнут, как мухи, или сгнивают в тюрьмах.

Потом Саша из окна долго смотрел на дорогу, по которой ушел Кравчук.

Теперь он всё чаще просил учительницу, Лидию Власьевну, рассказать о героях войны. Та как-то раз необычно пристально посмотрела ему в глаза и посоветовала:

— Делай, Саша, альбом героев войны. Сам их хорошо узнаешь и другим ребятам будешь рассказывать. — И вдруг, всхлипнув, точно ей перехватило дыхание, отвернулась и быстро пошла по двору.

Он удивленно смотрел ей вслед. Обиделась, что ли? Строгой считали ее. Ребята жаловались, что она будто всегда занижала им оценки. И скупа была на ласковое слово. «Известно, — нелюдимая», — заключил он. И тут же стал примечать, что Лидия Власьевна, еще не старая женщина, идет и спотыкается, как старушка. Но кого он ни спрашивал, никто толком не знал, что с ней. Говорили, что она стала много работать и даже там, где ее и не просили: помогала грузить снарядные ящики, по ночам что-то шила и вязала для фронтовиков.

Дня через три в школе Лидия Власьевна вела урок русского языка. Саша теперь внимательно смотрел на

нее. Правда, лицо ее осунулось, даже будто почернело, но ничего особенного незаметно. Кто же не похудел во время войны?

Она ходила по классу и диктовала. И только в одном месте, когда прочла: «Мужественный человек не гнется ни перед какой бедой», вдруг всхлипнула, как тогда, во дворе. Теперь Саша ясно увидел, как она на миг зажмурилась и крупная слеза, блеснув на лету, упала на раскрытый учебник. Лидия Власьевна быстро его закрыла и, мигая глазами, стала пристально смотреть в окно, хотя за окном ничего и не было.

Саша понимал: Лидия Власьевна превозмогает давящее горло рыдание. Невероятно было, что этот взрослый, с виду суровый, человек перед посторонними роняет слезы. Что же с ней?

Но вот Лидия Власьевна повернулась и как ни в чем не бывало спросила:

— Ну, написали?.. «ни перед какой бедой». — И снова продолжала диктовать попрежнему четко и твердо.

Саша не успокоился, пока не узнал причину странного поведения учительницы. Вечером ему по секрету сказал воспитатель Четвертов, что уже с месяц, как Лидия Власьевна получила с фронта извещение — ее единственный сын погиб в бою.

— Только не любит она разных сетований, соболезнований, — предупредил Четвертов, — потому и не говорит людям о своем горе.

Вечером Саша и его друзья дивились: ну и характер у Лидии Власьевны! Месяц она учила ребят быть бесстрашными и мужественными, а у самой такая беда! И бралась за всякую работу, — значит, чтобы забыться.

Воспитанники уже знали, что Лидия Власьевна получала от своих учеников письма со всех концов страны. Ее бывшие ученики — теперь инженеры, сталевары, врачи, знатные стахановцы, ученые, члены правительства. На всю жизнь запомнили эти люди дорогие черты лица, голос и глаза учительницы, всегда внушавшей им стремление к знанию. Ее ученики уже имеют десятки и сотни своих учеников — строителей новой жизни. Круг их ширится. Тысячекратный урожай дает самоотверженный труд седеющей учительницы, а она, незаметная, простая и скромная, попрежнему отдает людям всю силу своей души.

— Вот что, — заявил Саша, — надо что-то сделать. Раз она не хочет, мы и прикинемся, будто ничего не знаем, а сами будем делать так, чтоб ей легче жилось. Всем лучше учиться — прежде всего.

И тут же стали предлагать: не сердить ее в классе, помогать отстающим ученикам, не шуметь на уроках.

Со следующего дня уже пошла в классе незаметная для непосвященных упорная работа. Разве что какой-нибудь не в меру шумливый ученик получал иногда от своего же товарища крепкий щелчок, а то во всем был отменный порядок. Теперь уже сама Лидия Власьевна замечала перемену к лучшему и в учебе и в поведении ребят. Она радовалась, ища разгадки. Может, она долго думала бы о том, если бы ей довольно-таки неуклюже не подсунули конверт с деньгами. Тогда она, уже не в силах сдержать волнение, всему классу заявила:

— Милые ребята, я получила из полка, где служил мой сын, сразу шесть денежных аттестатов. И приславшие их товарищи сына просили меня считать их своими сыновьями и рассчитывать на их постоянную помощь... Нет, мне их деньги, как и ваши, не нужны. Пока сама зарабатываю, да и государство помогает... Но какие вы все... — она хотела сказать: «замечательные» — и побоялась перехвалить.

Но воспитанники поняли недосказанные ею слова, и Саша крикнул:

— Мы ваши ученики!

И все почему-то захлопали в ладоши, а Лидия Власьевна смотрела на них блестящими глазами и улыбалась.

С той поры Саша не тревожил Лидию Власьевну расспросами о героях войны, а сам каждую свободную минуту отдавал альбому. Листал газеты и журналы, вырезывал портреты и очерки, подклеивал их. Часто при свете коптилки он сидел над альбомом по ночам, читал, думал о героях.

Глава XII

ДРУЖБА

Ночь. За окном в черной темени выла вьюга. В спальне казалось, что все воспитанники крепко спят. Но если вслушаться, можно было различить еле уловимый шопот.

Это друзья — Брызгин, Еремин, Чайка и Щукин — ждали Сашу. Он всегда рассказывал что-нибудь новое, интересное.

Вот он наощупь пробрался по темной комнате к своей койке. Она рядом с койкой Еремина.

— Мы тебя ждали, братишка, так ждали! — сказал шопотом Тимошка.

— Ты сюда, Саша, в середину! — позвал Еремин. — Мы сдвинули койки — ближе будем.

Саша рад, что у него есть такие хорошие друзья. Еремин хоть и плутоват, зато какой затейливый говорун! Никто лучше его не расскажет про капитана Немо, Уленшпигеля, матроса Кошку. Саше особенно нравилось, что у Еремина победителями всегда оказывались смелые, ловкие, умные люди. Он зло высмеивал лентяев и растяп. . .

А сколько раз Саша заслушивался, когда Виктор Чайка играл на баяне и пел песни!

Тут, рядом с ними и Брызгин, заядлый рисовальщик. Хочет стать вторым Репиным! Саша и прозвал его — Нерепин. А в общем дружба неразливная.

Саша, рано осиротев, был податлив на ласковое ду-

шевное слово и льнул к людям, прикидывая, однако, от кого и чему можно поучиться.

Он быстро разделся и лег на свою койку.

— Ну, говори!

— Про Игарку слыхали?

— Это девочка? — прошептал Щукин.

— Ну, какой ты, Тимоня!.. Это новый город за Полярным кругом, — ответил Саша. — Удивительные места. Вечная, понимаете, мерзлота. Даже летом только на метр земля прогревается. Но и за Полярным кругом уже поспевают яблоки, ягоды... Мичуринцы и там орудуют, — понятно?

— Эх, побывать бы там!

И разговор зашел о путешественниках и путешествиях. Саша с увлечением заговорил о Пржевальском и Козлове.

— А что такое Хара-Хото? — спросил Тимошка.

— Мертвый город.

— Расскажи...

И снова:

— А что такое чудесная Лхасса?

— Сердце Тибета.

И когда ребята говорили о своем желании путешествовать, Саша решительно заявлял:

— Неинтересно блуждать по свету, как бездомная собака. Хорошо путешествовать, как Пржевальский, Козлов: быть участником научной экспедиции. Тут польза и народу и себе.

Потом он заговорил о том, что́ записал сегодня в свой синий блокнот:

— Понимаете, какой это был человек? Сам сидел в каземате в Петропавловской крепости и, может, казни ждал, но писал книгу «Дети солнца»: звал людей к правде, к революции.

— Кто?

— Да Горький. В камере номер шестьдесят. И Чернышевский в той крепости книгу написал: «Что делать?» А товарищ Ленин в шалаше писал книгу про то, как советское государство создать. Тогда шпики повсюду искали его. Буржуи, видишь, убить его хотели.

С минуту все молчали.

Над крышей, гремя железом, гудела вьюга. От ее напора стонали оконные стекла.

— Ну, Сашутка, говори еще про таких людей...

— Про комсомолку Лизу Чайкину в газете прочитал, — волнуясь, сказал Саша. — Вот девушка! В тылу у немцев ходила по деревням, доклад Сталина о годовщине Октября читала, звала в партизаны. Шестнадцать деревень прошла. А когда попала в лапы эсэсовцев, то, сколько они ее ни мучили, она ничего врагам не сказала.

— Вот это комсомолка настоящая! — проговорил Брызгин.

Снова тишина. Только было слышно, как вьюга гудела за окном. Товарищи, задумавшись, молчали. Но вот Тимошка шумно вздохнул:

— И я ничего не сказал бы фашистам!

Саша ответил проникновенно и строго:

— Ты, Тимошка, на ветер сло́ва не бросай. Дело серьезное. Дал обещание — выполни.

Он задумался и вдруг оживился, охваченный новым чувством:

— Хлопцы мои, всем трудно теперь, всем нашим людям... А хотите навсегда будем друзьями?

— Ясное дело — хотим, — ответили ребята.

— И держаться один за всех и все за одного, — хотите?

— Хотим!

— И всю правду в глаза резать. Согласны?

— Согласны!

— И, если придется, — продолжал Саша, — будем такие же смелые, как Лиза, как Гастелло. — И, помолчав немного, торжественно спросил: — Клянетесь?

— Клянемся!

— И жить будем так, чтоб людям легче было оттого, что мы живем. Обещаете?

— Обещаем!

— Ну вот и хорошо! — облегченно вздохнул он, видно, много раз думавший о том, что сейчас было сказано. — Теперь нам во всем легче будет.

Дружки взволнованно молчали.

Далеко за полночь Саша спохватился:

— Да что же это мы! Пора спать.

И когда все уже спали, он долго вслушивался в ночную тишь. Так хорошо ему было, что и спать не хотелось.

Раньше в бездомном одиночестве истосковался он по ласке и дружескому слову, — теперь он имел это в избытке. Он ощущал рядом своих друзей. Все они — разные, но такие близкие! Пусть спят спокойно. Они на верной дороге.

Тимошка что-то забормотал во сне и раскрылся. Саша тихо поднялся и бережно укрыл его одеялом.

Тихо-тихо, только вьюга гудит за окном.

Глава XIII

ЗАКАЛКА

Отбушевала лютая зима. Тихий апрельский вечер принес первые тонкие запахи весны — разбухающих тополевых почек, прелой листвы. Рокотали ручьи.

Саша шел в клуб, жадно вдыхая чистый воздух. Завтра с утра предстояла очень трудная, рискованная работа на тающем льду реки Белой, а сегодня ребята решили повеселиться в клубе. Сашу тянуло к людям. С каждым днем крепли в нем силы и желание что-нибудь делать, узнавать, пробовать. Навстречу шла жизнь ясная, многообещающая. И он брал от нее всё, что хотел, весело, жадно, страстно. В цехе сноровистым рукам его была послушна сталь, и он всегда перевыполнял нормы. По вечерам в библиотеке он зачитывался книгами; в клубе участвовал в спектаклях, пел в хоровом кружке, занимался физкультурой; душу отвести шел к другу — гармонисту Чайке.

Вот и в этот вечер, как всегда, вокруг Чайки собрались любители попеть. Александру больше по сердцу песни протяжные, широкие, как степь, как море: «Ой, да ты, калинушка», «Рябина», «Ах ты, степь широкая», «Вниз по Волге-реке».

А когда товарищи пели песни, он просил:

— Только без крику! Орать и верблюд умеет. Надо петь так душевно, чтоб сердце замирало. Понятно?

В полночь самодеятельный концерт окончился. Ребята разошлись. А Саше захотелось еще побыть в клубе

одному, еще почитать хоть немного. Он пристроился у печки и раскрыл любимую книгу: «Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем, — дело чести».

К нему подошла Лидия Власьевна:

— Ты что, Матросов? Все ушли спать, — а ты?..

— Дочитываю книгу. Немного осталось. Четвертый раз ее читаю. До чего ж хорошая! Вот это человек!

— Да, книга хорошая. А ты разве не идешь завтра на реку работать?

— Иду. Но я пообещал Еремину сегодня дочитать. Ждет.

Она ушла с довольной материнской улыбкой.

Саша снова склонился над книгой. Чтобы наверстать упущенное, он жадно читал по ночам. И думалось хорошо в ночной тиши. В его библиотечной карточке уже значились такие прочитанные книги: «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», «В людях», «Мои университеты», «Поэмы Пушкина», «Кобзарь», «Чапаев», «Хаджи-Мурат», «Тихий Дон», «Дети солнца», «Суворов», «Мать», книги о путешественниках, ученых, исследователях... И чем больше он брал знаний из книг и от людей, тем шире раскрывались глаза на мир, беспредельно разнообразный и манящий. И росла неутолимая жажда знать еще больше. Мечталось о совершении необычайных дел. И очень хотелось, чтоб ощутили, поняли прелесть познания и друзья — Тимошка, Брызгин, Еремин, Чайка и все ребята. И жили б они красивее, дружнее.

Но теперь, в военное время, на фабрике порой было так много работы, что читать и некогда. Саша работал у слесарного верстака упорно и много, часто по две смены подряд. Палимый ненавистью к врагу, Саша трудом своим помогал бить фашистов.

Когда шел из клуба, откуда-то из ночного мрака вдруг появился Клыков.

— Как живешь, отличник? — вызывающе проговорил он, преграждая дорогу. — Учишься всё?

— Учусь, чего и тебе желаю.

— Мне абы каши поболе, а наука ни к чему... Вон ты и учишься, а дурак.

— Чего тебе надо?

— Трусить изволите? Боишься — голову откручу?
— Не посмеешь. Нас много.
— Я один против всех иду. Всем скулы сворочу!
— Руки коротки! — Саша прошел мимо, не оборачиваясь.

Клыков не тронулся с места, лишь погрозил вслед:
— Я тебя всё равно не прощу. Будет когда-нибудь и мой случай!

Саша не боялся Клыкова, но нелепая вражда с ним щемила сердце, как заноза.

Утром команда воспитанников подошла к реке Белой. Огромное красное солнце выкатывалось из-за горы. Была неустойчивая апрельская погода. Днями шумели ручьи, а ночами их сковывал мороз. И теперь в оврагах под ногами скрипел ноздреватый, почерневший снег, но весна чувствовалась во всем. Жемчужносизый пушок ракиты весело маячил среди черных стволов клена и вяза. Зеленела озимь, и пробивалась яркая трава на пригорках. Чистый воздух был насыщен тончайшими запахами весны и опьянял, как вино.

— Ух, здорова речища! — раскинул Саша руки, точно желая обнять речную ширь, покрытую льдом, розовеющим в утренних лучах.
— Постой, она тебя уломает! — подмигнул Еремин.
— Захлебнешься ее водицей, — мрачно усмехнулся Клыков.

Лес в плотах, пригнанный осенью для фабрики, не успели вытащить из воды. За зиму плоты вмерзли в толщу льда. Не сегодня-завтра полая вода могла унести плоты вместе со льдом.

— Смешное дело, — нахмурился Еремин. — Эти бревна и динамитом не вырвешь из льда, а мы хотим руками. Трудно будет. Вымотаемся зря.
— Да, трудновато, — согласился Матросов. — Зато вот тут и покажем себя!
— Ты на ветер зря слова не бросай!
— Он только хвастать умеет, — захохотал Клыков, — а у самого силы, что у мухи. Чужими руками жар загребать хочет. — И тихо, чтобы слышал один Матросов, добавил: — Вот пихну тебя под лед — узнаешь тогда, где раки зимуют!
— Ты меня не пугай, пу́гало, — вспылил Матросов. — Что ж, по-твоему, как трудно, — так значит, не надо ра-

ботать? Да настоящий человек, — хоть кровь из носу, хоть руки изодраны, а нужное дело не бросит.

— Правильно, Саша, — поддержал его Виктор Чайка. — Известно, сталь от закалки делается крепче.

— Хорошо ты сказал, Виктор, — сразу повеселел Матросов. Ему хотелось испытать себя в трудном деле.

— А ты, лодырь, — повернулся он к Клыкову, — не сбивай ребят с толку! Только и умеешь работать языком да ложкой.

— Верно, Сашка! — засмеялись товарищи.

Воспитанники колонии принялись вырубать изо льда длинные бревна и вытаскивать на берег. В звенящий лед вонзились ломы, топоры, кирки. Сверкая на солнце, разлетались брызги. Бревна волоком тащили на высокий берег под команду:

— Раз, два-а — взяли! Еще-е — крепче!

Вытаскивать обледенелые, тяжелые бревна было труднее, чем вырубать их изо льда. Работа шла медленно. Пригрело солнце, и стало еще хуже. Валенки намокли. Ноги скользили.

— Надрываемся, а зря, — угрюмо сказал Клыков.

— Ну да, зря, — согласился Еремин, пошатываясь от усталости. — Всё равно не успеем. Снесет.

— «Зря, зря»! — передразнил Саша, злобно косясь на Клыкова. — Закаркали, как худые вороны! Хныкать легче всего.

Он ожесточенно сдвинул на затылок ушанку, рукавом ватника стер пот с лица, потом снял ватник и швырнул на бревна. Расстегнул ворот черной сатиновой рубашки. Разгоряченную грудь подставил ветру. Задумался. Чем облегчить эту, и правда, изматывающую работу?

— А что если нам попробовать накатом? — окинул он всех быстрым взглядом.

— Каким там еще накатом? — рассердился Еремин.

— А скатить его самого в прорубь! — крикнул Клыков, что-то жуя. — Блоха в командиры лезет.

Саше так противен был этот бездумный верзила, что он даже не взглянул на него.

Он обратился к Еремину, говорил сдержанно, а глаза властные, пронзительные:

— Не шуми, Еремка! Попытка — не пытка. Всем лучшего хочу. Понятно?

Еремин вспомнил ночь дружеских признаний, клятвенных обещаний и вздохнул:

— Да я не против работы, — но как лучше?

Ребята заинтересовались предложением Саши. Подошел и воспитатель Четвертов:

— Как накатом?

Это было совсем просто. Положить параллельно гладкие бревна и по ним катать. Двое сверху за веревки тянут, двое с кольями подталкивают и поддерживают бревно. Попробовали. И, на удивление, дело пошло быстро. Чайка задорно свистнул:

— Да таким манером раз в десять быстрей!

— И как раньше не додумались?

— Всякий додумается, — усмехнулся Саша. — Пустяк дело.

В следующую ночь мороза не было. На льду появились лужи. Вода покрыла лед вдоль берега. Целый день и дотемна воспитанники колонии работали безропотно.

На третий день работать было еще труднее. Под водой лед был очень скользкий, ноги не слушались; всюду хлюпала вода и заливала с трудом вырубленные из льда бревна, замерзшие в нижних слоях. А вода всё прибывала. По оврагам и ерикам в реку с шумом бежали мутные ручьи.

В полдень Еремин споткнулся, упал и выругался:

— Это му́ка, а не работа!

— Бросать ее! — сразу подхватил Клыков. — Кончен бал!

Ребята перестали работать. Саша взглянул на Еремина, стоящего в воде на четвереньках, не выдержал и, закрыв рот варежкой, прыснул со смеху. Но сразу же стал суров:

— Хлопцы, что приуныли? Орлы вы или чижики? А на фронте, думаете, легче? Ведь дорога̀ каждая минута. А ну, товарищи, давай, давай! — И подложил шест под бревно.

Ребята снова заторопились, покачиваясь от усталости.

Уже багровое солнце близилось к закату. Лед стонал, потрескивал. Но вот вся его масса вздрогнула и чуть заметно двинулась.

Клыков поскользнулся, взмахнул руками, упал в по-

К стр. 95

лынью и сразу скрылся под водой. Потрясенные такой неожиданностью, ребята на секунду оцепенели.

— Утонул! — крикнул кто-то.

— Веревку ему! Где веревка? — забегал Виктор Чайка.

Но вот вода в полынье всплеснулась. Показалась голова Клыкова без шапки, мокрые волосы, до половины закрывающие лицо, широко открытый рот. Клыков руками вцепился было в кромку льда, ртом хватил воздух, раз, другой. Но товарищи не успели еще помочь ему, как руки его соскользнули, и он опять скрылся под водой. Снова всплеснулась вода, — показалась голова. Видно, Клыков цеплялся за жизнь упрямо, настойчиво.

— Давайте багры! Багры! — кричали кругом.

— Веревку! Шесты!

— Затянуло опять. Тут быстрина!

Люди бегали, впопыхах искали и не находили то, что надо. И все вдруг увидели: Саша бросил поперек полыньи доску и сам склонился над полыньей. И еще через секунду он поймал в воде руку Клыкова и молча силился подтащить ее к доске.

— Клыков и Сашку затянет под лед! — крикнул Щукин с ужасом в глазах.

— Да держите ж его!

Саша и сам побелел, как полотенце: долго ли соскользнуть под лед? Он клещом вцепился в доску, уперся о льдину и тащил барахтающегося Клыкова. Тот захлебывался, ловил ртом воздух и, видно, уже мало соображал.

До этого случая Саше противен был этот постоянно жующий парень, самодовольный пустобрех и невежда, будто бы и созданный только для того, чтобы делать людям пакости. Но Саша даже не успел подумать обо всем этом, когда кинулся, рискуя собственной жизнью, спасать тонущего человека. Теперь было самым главным не дать ему скрыться подо льдом.

Но вот Клыков, наконец, обеими руками схватился за доску, отчаянно выпучил глаза на Сашу, который держал теперь его под руку. Еще никогда их взгляды не встречались так близко. Теперь в налитых кровью глазах Клыкова — только мольба и ужас. Его уже тащили со всех сторон — за руки, за одежду, кто-то заарканил его

под руки веревкой, кто-то «подваживал» шестом. И как только вытащили его на пригорок, он, совсем обессиленный, сразу растянулся пластом, хотя и пробыл в полынье всего минуты три. Ребята быстро переодели его в свою сухую одежду. Он очнулся, сел, его затрясло.

— Дрожит! — обрадовался Еремин. — Значит, всё в порядке.

— Бегай, Клыков, бегай, грейся!

— Домой сам итти сможешь? — спросил его воспитатель Четвертов. — Или вести?

Но Клыков молча по-бычьи косился по сторонам и, увидев Сашу, тяжело поднялся. Тот уже стоял с шестом в стороне, готовый к работе. Клыков, шатаясь, как пьяный, и смешной в чужой короткой и узкой одежде, подошел к Саше, молча протянул окостенелую, согнутую в крюк руку. Саша, не понимая, в чем дело, отступил. Тогда Клыков прохрипел:

— Дай руку!

Саша важно пожал его ледяные растопыренные пальцы. Потом, видно застыдившись своей важности, усмехнулся и повел быстрыми задорными глазами:

— Ну, хлопцы, сеанс окончен. Даешь работу! А то вон солнце уже садится.

— Какая там теперь работа! — снова зашумели воспитанники.

— Ясно — бросать! А то и мы, как Клыков, под лед.

— Щук кормить!

— Там еще часа на три работы, — примиряющим тоном сказал Чайка. — Совсем угробят нас эти бревна.

— И верно, — согласился Саша, — за три часа угробят.

— Значит, всё, — обрадовались ребята, — бросаем!

— За три часа — ясно, угробят, — продолжал Саша. — А хлопцев жалко. Я предлагаю не мучиться еще целых три часа. . .

— Верно! — зашумели ребята.

— . . . предлагаю вытащить, — продолжал Саша, — эти проклятые бревна за полчаса.

— Сбиваешь с толку! Хитрый!

Все понимали: работать дальше опасно, и уже темнеет, — значит, будет еще опаснее. А лед держал еще не менее тридцати кубометров ценного леса.

Саша посмотрел на Четвертова. Тот, видно, тоже ко-

лебался: не прекратить ли работу? А Еремин и Брызгин уже сидели на пригорке и, сняв валенки, выливали из них воду, тихо ругаясь.

— Я так думаю, Семен Борисович, — сказал Саша, — правда, опасно работать, и ноги ломит в ледяной воде. Только если мы сейчас не выгрузим лес, его ночью унесет со льдом. Верно? А сколько ж из этого леса выйдет ящиков для боеприпасов? А? Семен Борисович, разрешите продолжать, пока не совсем стемнело. — И повернулся к ребятам: — Чайка, Брызгин, Тимошка, — друзья мои, — за работу!

Он первый взошел на лед. У берега уже было воды по колено. Саша поскользнулся, и ледяная вода обожгла живот. Он быстро поднялся. Усталость валила с ног. Непонятная сила потянула было его обратно, к берегу, но он шагнул от берега, злобно ворча:

— Я тебя заставлю! Бойцам под огнем куда страшней.

За ним пошли трое и снова принялись за работу. Туда же, качаясь, пошел и Клыков.

— Куда ты? — зашумели на него. — Тебе надо скорей согреться. Беги домой!

— Нна... ррабботе... согреюсь... — ответил он, цокая зубами.

Потом на помощь им поодиночке стали подходить и другие.

Не вытерпел и Еремин и кивнул на Сашу:

— Ребята, да что он, букашка, нам нос утирает? А мы что — хуже? Пошли и мы утопать!..

Саша засмеялся:

— Утопать, говоришь, Еремка? Тонуть не стоит... Шагай, шагай живей сюда! Ну-ка, ломиком под это бревно. — Теперь он уже хозяйничал, веселый, шутливый. — Давай, ребята, вагу под концы! Так. Разо-ом! Взяли! Крепче-е — дружно! Эй, орлы, подтяни животики, штурмуй эту коряжину!

Его слушались даже здоровяки. Воспитанники незаметно посмеивались, когда Клыков, который на две головы выше Саши, теперь быстро поворачивался, выполняя его команду:

— Муха слоном командует.

А Клыков, не слушая разговора, брал в охапку и таскал десятипудовые бревна.

Ребята шутили, но чувствовали душевную силу Саши.

Уже полная луна выглянула из-за деревьев, когда воспитанники, барахтаясь в воде, тащили на берег последнее бревно. Потом они, дрожа, выжали воду из портянок.

— Теперь бегом домой сушиться! — весело крикнул Саша, потирая замерзшие руки.

Глава XIV

ЛИНА

Летом в колонию прибыли дети из блокадного Ленинграда. Пока они проходили карантин, их держали изолированно, в особом корпусе.

В колонии нехватало воспитателей, — Матросова назначили помощником воспитателя к ленинградским детям.

— Нашли ж кого назначить! — с отчаянием пожаловался он Четвертову, которому теперь, после ухода Кравчука на фронт, старался во всем подражать. — Сам я еще на все ноги хромаю и боюсь, не свихнуться бы.

— Ничего, не свихнешься. Поработай с ними, — так надо.

— Надо, надо, а не хочется.

Он пришел к новым колонистам злой, сразу же нашел у девочек непорядки и накричал на них:

— Почему одежда на кроватях разбросана? Почему на полу мусор? Почему не причесаны?

К нему подошла светловолосая девушка в белом халате, строго сказала:

— Не кричите на них. Они из самого пекла. Обещаю, мы наведем порядок. — И чуть насмешливо повела большими ясными глазами. — Такой молодой начальник, а сердитый!

— Я пришел не сказки рассказывать. Понятно?

Она опустила ресницы и смолчала.

Александр по-своему понял свои новые обязанности. До сих пор он только повиновался другим, теперь же,

когда ему дана власть, он думал, что его должны беспрекословно слушаться.

Насмешливый взгляд этой девушки возмутил Сашу. Видно, она и в грош не ставила его, как воспитателя. Он придумывал самые веские слова, чтоб, наконец, внушить ей уважение к себе, воспитателю. Пока он думал, девушка спокойно заговорила:

— Мне страшно было поначалу тушить бомбы-зажигалки. Бывало ночью упадет на дом такая бомба, крышу пробьет — и на чердаке во все стороны летят брызги горящего термита. А медлить нельзя ни секунды: дом загорится, а в доме — сотни людей. Вот видите, — подняла она рукав халата. Рука ее была в шрамиках, будто хищная птица клевала. — Это ожоги. А потом привыкла, тушила и не боялась. А вы тут запугать нас хотите.

Саша растерянно посмотрел на девушку, не зная, что сказать.

— Ладно, наведите сами порядок, — наконец глухо проговорил он и, краснея от стыда, ушел.

Воспитатель Четвертов, узнав, как неприязненно Александр говорил с девушкой, строго спросил его:

— Зачем ты грубил ей?

— А что с этой девчонкой — нежности разводить?

Четвертов, как всегда тихо, но строго, сказал:

— Запомни: этих детей города-героя мы должны окружить заботой и лаской. Ясно?

Через час Александр опять пришел к детям. Девушка встретила его на крыльце и, чуть улыбнувшись, сказала:

— Теперь смотрите, — у нас полный порядок.

Подбежали ребятишки, окружили их.

— Вы кто тут? — спросил он девушку.

Дети весело зашумели, прижимаясь к ней:

— Это наша сестричка!

— Мама наша! Из Ленинграда нас вывезла.

— Сколько же этой маме лет? — спросил он. — И как ее зовут?

— Шестнадцать, — улыбнулась девушка. — Приехала с этими ребятами. А теперь в санчасти. Я там и санитарка и медсестра. Словом, всё делаю. А звать меня Лина.

— Лина? — переспросил он. — Ну, значит, я о вас уже слышал...

Это о ней говорили воспитатели: «Если бы не было

с ленинградскими ребятами старшей из девочек — Лины, половина их, может, и не доехала бы до Уфы».

Она в дороге ухаживала за детишками, была медсестрой, поварихой и швеей, добывала продукты. «Только почему ее называют девочкой? — подумал Саша. — Она уже почти взрослая».

— И я знаю о вас, — усмехнулась Лина.

— А вы откуда обо мне знаете? — спросил он.

— Как же, на доске почета... Ваша фамилия среди лучших стахановцев.

Он пристально посмотрел на нее: «Боевая, до всего ей дело».

— Что так смотрите? — спросила Лина, слегка прищурив глаза, и детски простодушное выражение их сделалось насмешливым. Потом нахмурилась.

— А ну, ребята, марш по местам! Каждому стать у своей койки! Смотр сейчас будет.

Ребята разбежались.

— Вот и родня вся, эти мои братишки и сестренки, — вздохнула она. — Знали бы вы, что они терпели в Ленинграде под бомбежками и обстрелами, вы бы на них не кричали. Родители их погибли, кто на заводе у станка, кто на рытье окопов. — Она вдруг отвернулась, видно, вспомнив что-то тяжелое. Помолчав, продолжала: — У немногих из этих детей родители живые, да и те на фронте. — И опять улыбнулась; блеснули ее влажные глаза: — Так-то, Сашенька, надо быть чутким.

«Сашенька?» — взволновался он от неожиданности. Ему странным казалось, когда она говорила ему «вы», а теперь он не знал, возмущаться ли ее фамильярностью или благодарить за такое ласковое слово. Он стал пристально разглядывать ее. Льняные волосы, просвеченные и озолоченные солнцем, струясь на ветру, падали на плечи. Лицо еще бледное и худое после блокадной ленинградской зимы, синие смелые глаза. Белизной сверкал на солнце ее халат, перехваченный пояском на тонкой талии.

Задумавшись и глядя куда-то вдаль, она стояла теперь перед ним серьезная, не по возрасту озабоченная.

«Вот она какая! — подумал Саша. — Вот бы с кем дружить мне! Она многое видела и пережила, много знает». — И робко спросил, не надо ли ей чего для ребят.

— Спасибо, не надо, — не оборачиваясь, ответила она.

Несколько дней он избегал с Линой встречаться, хотя ему и хотелось скорее поговорить с ней запросто, подружески.

На четвертый день, выходя из столовой, Саша встретился с ней лицом к лицу. Она молча кивнула ему, здороваясь, и прошла мимо, прямая и гордая. Он готов был броситься за ней, но сдержался. Вдруг она окликнула:

— Саша, почему вы не заходите к нам?

— Не надо, потому и не захожу.

— Чего вы сердитесь?

— Я не сержусь, но некогда, — замялся он. — Иногда всю ночь до рассвета приходится работать.

Лина улыбнулась и продекламировала:

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

— Без намеков, пожалуйста, — обиделся Саша. — Я и так могу сменить разговор, даже уйти.

— Всё понятно. Если не знаешь, так лучше убежать, — задорно сказала Лина.

— Чего не знаю? — не понял он.

— А вот чьи эти стихи? Из какого произведения?

Саша, и верно, не знал, и это его раздражало.

— Некогда мне тут балагурить! — с достоинством сказал он и зашагал неторопливо и широко, чтоб казаться повзрослее.

Весь вечер он рылся в книгах, ища стихи, прочитанные Линой.

На другой день он нашел их и хотел сразу же бежать к ней, но сдержался. Она первая заговорила с ним, случайно встретясь во дворе:

— Саша, говорят, вы хорошо поете в хоре?

— А ты... вы... поете?

— Плохо. А почему спрашиваете?

— Так. Думаю, что нельзя любить человека, который не поет и не любит песен.

— А если голоса нет?

— Всё равно. Хороший человек хоть по-вороньи да поет.

— По-вороньи? — засмеялась она. — Лучше совсем не петь.

Он предложил:

— Приходите сегодня вечером в клуб. Петь будем.

— Хорошо, приду.

Но ему показалось, что она согласилась нехотя. Он повторил:

— Обязательно приходите, Лина.

— Приду, Саша, обязательно приду... А за что записали вас на доску почета?

— Да так, — смутился он. — Ну, работал, старался сделать больше и лучше...

— Это хорошо, — тихо сказала девушка, — очень хорошо, когда тебя ценят.

— Недавно я придумал новый способ закалки инструментов. Думаю, теперь дело пойдет быстрее...

— А что, вы уже пробовали этот способ?

— Нет еще. Вот расскажу мастеру.

— Так зачем же прежде времени хвастаться? — добродушно усмехнулась Лина.

Он смутился, но тут же возразил:

— Да нет, я верю, что получится.

Вечером он упрашивал гармониста Чайку:

— Виктор, браток, ты сегодня играй так хорошо, как никогда еще не играл. Понял?

— Нет, не понял.

— Ну, чудак, а еще друг. Я объявил ребятам, что петь будем. Так петь, чтоб аж до неба песня летела.

Когда Лина пришла в клуб, ему показалось, что там сразу стало светлее и торжественнее. И хотелось, чтоб при ней никто дурного слова не сказал и чтоб все вели себя хорошо, точно она о нем будет судить по поступкам его товарищей.

— Давай любимую! — весело крикнул он баянисту Чайке.

Чайка тряхнул выгоревшим на солнце, белым вихром и заиграл. Александр, точно поднимаясь на облаках, с замиранием сердца запел:

Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что пригорюнилась, девица красная,
Очи блеснули слезой?

Лицо его то хмурилось, то озарялось. Он выпрямился. Первое смущение прошло. Голос становился певучее и увереннее.

Ночь начинается, фонари качаются,
Филин ударил крылом.
Налейте мне чару, налейте глубокую
Пенистым красным вином...

Но вот замер голос певца. Стих баян. А ребята всё еще молчат и смотрят на Сашу. Он смутился, не зная, куда себя деть. Потом засмеялся:

— Почему тихо? Да что вы все приуныли? А ну, грянем партизанскую! — И первый затянул:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Пели и про калину, и про степь широкую, и про рябину. Александр стеснялся при товарищах подойти к Лине, но старался, чтобы пели стройно; и ей было хорошо и радостно с ними.

Потом он показал ей альбом героев войны:

— Вот это настоящие люди! И сколько их! Ведь они простые, как все мы, а какие храбрые! Вот смотрю на Щукина. Как воробей, маленький и чудной. А, может, завтра он-то и будет героем!

— Учитель наш, помню, сказал: «Великие всегда простые...»

— Вот правда... Ли-на, — с расстановкой произнес он ее имя. — Верно он говорил!

Саша задумчиво смотрел на ее щеки со следами морозных ожогов, на голубую жилку под золотистым пушком на левом виске, и в ясном взгляде его — уважение и нежность к этой заботливой и смелой девушке.

— Ну, я пойду, — вдруг заторопилась Лина. — Уже поздно. Спокойной ночи!

Дома он долго не мог уснуть, согретый радостным чувством зародившейся большой и хорошей дружбы.

В обеденный перерыв Саша прибежал в общежитие, заправил свою койку и койки товарищей, подмел пол, поправил занавески. Надел чистую тельняшку и тщательно заправил ее в брюки, чтоб спереди не было ни одной складки. Проходя сквер, он подобрал клочки бу-

маги, расправил кем-то примятые на клумбе цветы. Ему хотелось, чтоб всюду было чисто и празднично.

После обеда, выйдя из столовой, он встретил Лину.

— Понравилось тебе вечером в клубе? — спросил Саша.

— Да, очень, — тихо ответила она.

— И мне было очень, очень хорошо.

Лина улыбнулась.

Потом они побежали к пруду. Саша обогнал Лину и остановился у самой воды под старой ракитой, поджидая девушку. Он видел, как она спускалась по зеленому пригорку, светловолосая, в белоснежном халате, вся освещенная солнцем. Такой ослепительно чистой он и запомнил ее до конца дней.

— День-то, день сегодня какой!

— Да, да... Как хорошо тут!

Взявшись за руки, они молча стояли рядом. Еле заметно плыли отраженные в зеркале пруда высокие редкие белые облака. С высокого холма открывался огромный, необозримый простор. В прозрачной дымке зеленели леса, между ними, извиваясь, сверкали реки Белая и Уфимка. На лугах волнообразно струился серебристый ковыль. Легкий ветер нес оттуда запахи медоносных трав; точно застыли в дреме высокие взгорья и овраги, поросшие вязом, дубом. Вдали, под сивой шапкой паровозного дыма и пара, — станция Дема. Широкую реку Белую перепоясал, будто синей ажурной мережкой, железнодорожный мост. А ближе — переправа через реку на Цыганскую поляну, окруженную дубами-великанами. Там летом, в башкирские праздники сабан-туя, — веселые, шумные гулянья.

Да ему всё здесь любо — и близость Лины, и травы, и пруд, и ракиты, и белое облако на горизонте... Столько вокруг прекрасного, что он с удивлением думал, как раньше этого не замечал! Словно мир преобразился для него. И он не смог сдержать полноту чувств:

— Как хорошо!

— Что ты? — удивил ее необычайный блеск его глаз.

— Смотри, Линуся, тут кругом исторические места. Пугачев тут воевал. А вон там, за поворотом реки, Чапаев высаживал десант. А там шли на Урал первые рудокопы.

Волнуясь, он говорит о сказочных сокровищах, какие открывает земля советскому человеку.

— А там — большие города... Страсть как хочу скорей попасть в Москву, посмотреть Кремль, мавзолей, Третьяковскую галлерею!

— А у нас в Ленинграде — Русский музей, Эрмитаж... Хочешь в Ленинград?

— Хочу... Я знаю, Линуся, чьи стихи про белые ночи: «Одна заря сменить другую спешит»...

— Постой, не надо, — вдруг сказала она, мучительно сморщившись.

— Что? — испугался он.

— Так... В Ленинграде погибли мои отец и мать.

Она долго молчала. Потом, сурово сдвинув брови, рассказала о том, как фашисты каждый день обстреливали город. Но гнев ленинградских рабочих был так велик, что они, усталые, истощенные, трудились по нескольку смен подряд. А когда не было электроэнергии, вручную приводили в движение станки и упорно работали для фронта.

Четыре раза снаряды пробивали каменные стены цеха, где работал отец Лины, разбивали железобетон, кромсали металл, а отец всё работал... Вначале, когда остановились трамваи, отец ходил пешком с Петроградской стороны, где они жили, до завода «Большевик» — километров пятнадцать. Потом он приходил домой всё реже и реже. И раз утром его нашли в обледенелом цехе у токарного станка уже замерзшим.

Мать работала на строительстве оборонительных укреплений и тоже пешком ходила рыть окопы, строить дзоты за Невской и Нарвской заставами. А в январе сорок второго года однажды принесли Лине одежду, зарплату матери, паек и сказали, что на Средней Рогатке мать убита осколком снаряда и уже похоронена. Потом ее, Лину, завод взял в свой диспансер, где она и была до эвакуации.

Александр слушал Лину и раскаивался, что раньше грубил ей.

— Почему ж ты мне до сих пор об этом не сказала?

— Зачем? Хныкать и всюду говорить о своем горе — это плохо.

— Твои родители — настоящие герои! И ты мне теперь еще родней...

— Правда? — улыбнулась она, и влажные глаза ее заблестели. — Значит, мы друзья?

— Навсегда-навсегда!

— Вот и хорошо, — вздохнула Лина и, помолчав, спросила:

— А кем ты хочешь быть?

— Кем? — смутился он. — Да я хочу быть инженером-механиком. Хорошо бы и астрономом. И ботаником тоже неплохо.

— Хватит! — засмеялась она. — Я думала, ты серьезнее.

— Нет, ты не смейся, слушай... Астроном, понимаешь, знает, что от звезды Сириус до нас свет долетает только через девять лет, а от иных звезд только через миллионы лет. Знает даже температуру, состав и вес звезд. Хорошо быть астрономом!

— А инженером-механиком?

— Да не только механиком, а и оптиком и электриком... Они строят все машины и приборы. А мне еще хотелось бы построить такую машину, чтоб управляла тучами и бурями.

— Ого, какой! Скажешь, и архитектором хорошо?

— А как же! Ведь он строит красивейшие дома, дворцы, целые города...

— Ты, может, еще хотел бы и художником?

— Брызгин будет художником. А композитором — Виктор Чайка. Верю в них. А я тоже люблю и музыку, и живопись, и книги. Всё люблю. Всё, всё! Да ты не смейся. Теперь кем захочу, тем и буду. А Циолковский, Мичурин, Лысенко, думаешь, из каких вышли? Только учиться надо. Знаю: учиться трудно, — но до чего ж интересно! Каждый час перед тобой открывается что-нибудь новое, да такое хорошее — дух захватывает. И я обещаю тебе — учиться буду много-много!

Саша чувствовал теперь в себе столько силы, что ее хватило бы на одоление самой трудной учебы. Он был окружен друзьями. Его имя — среди лучших производственников — на доске почета. К его голосу прислушивались на собраниях и совещаниях. Но мало кто знал, какой трудной работой над собой добивался он всего этого.

Лина смотрела на него испытующе и ласково:

— А где ты был до колонии?

Он сразу померк:

— Не спрашивай, после скажу.

— Почему не сегодня?

— Сегодня у меня праздник. Особенный день. Понимаешь?

— А вечер вчера?

— И вечер был особенный.

Он хотел еще сказать, что она ему родная, как сестра, как мать. Но произнес только одно слово:

— Линуся...

Потом вдруг, смутившись, по-мальчишески хлопнул себя руками по бедрам:

— Ну, и чудак я, честное слово, чудак! Заговорился. А ведь мне надо срочно в сушилку, паровые трубы осмотреть. Ну, — до вечера, Линусенька. — И помчался.

Она глубоко вздохнула, глядя ему вслед:

— Какой странный и... и хороший.

Глава XV

РОДИНА ЗОВЕТ

Вот и сбылась беспокойная, страстная мечта. Родина звала и его в бой. Что ж, постоять грудью за Отчизну — выше этого и чести нет.

Саша и Лина стояли у пруда в последние минуты перед отъездом в военкомат. Зябкий сентябрьский ветерок рябил свинцовую гладь студеной воды. В небе — тревожный крик запоздалых перелетных птиц. Кружась на ветру, летели пожелтевшие листья тополя и ракиты.

Александр часто поправлял поясной ремень, туго затягивающий в талии черную шинель с блестящими белыми пуговицами. Он был строен и по-военному подтянут. Лина с грустной улыбкой смотрела на него. Вот и конец их встречам и песням!

Сдерживая слезы, она протянула ему свою фотографию и сказала:

— Возьми и помни обо мне.

Саша вынул записную книжку, бережно положил туда фотокарточку и вчетверо сложенный лист бумаги.

— А это что? — спросила Лина.

— Характеристика. Описали меня тут — спасу нет. — И он показал Лине бумажку.

Она прочла вслух:

— «Матросов, Александр Матвеевич, 1924 года рождения, уроженец города Днепропетровска, происходит из семьи рабочего, образование семь групп, русский. В Уфимской детской трудовой колонии зарекомендовал

себя исключительно с положительной стороны. Работал на мебельной фабрике в качестве слесаря стахановскими методами. За хорошую работу на производстве, отличную учебу в школе и поведение Матросов А. М. с пятнадцатого марта по двадцать третье сентября 1942 года был в должности помощника воспитателя. Кроме этого, был избран председателем центральной конфликтной комиссии. Активная работа в учебно-воспитательной части и личное желание Матросова окончательно подготовили его к самостоятельной жизни. Товарищ Матросов выдержан, дисциплинирован, умеет правильно строить товарищеские взаимоотношения. Характеристика дана для представления в РККА».

— Вот какой ты у нас! — ласково и печально сказала Лина.

— Ну, сама понимаешь, перехватили через край.

— Да, они тебя, видно, не очень хорошо знают. Хоть и правду написали, но этого мало...

— Хватит, Лина, а то поссоримся на прощанье. Эх, жаль, что я мало учился и мало знаю! Один великий человек сказал, что и двадцатилетний человек может принести народу такую пользу, что его не забудут вовек, а можно, понимаешь, и сто лет прожить без пользы, как гнилушка... Здóрово сказано, а? И я мог бы уже среднюю школу окончить, в армии был бы полезней, а после армии — сразу в институт или в университет. А я что делал? Вот теперь волосы рвал бы на себе, да поздно.

Он умолк. О чем бы еще самом нужном не позабыть сказать? Но чувств и мыслей так много, что трудно выбрать из них главные. А секунды текут, и волнение растет.

Белые облака, прозрачные и чистые, будто клочья смятой марли, быстро плыли на юг, чуть прикрывая солнце. Тихо шумели, качаясь, длинные, свисающие к воде полуоголенные ветки ракиты. Но вот шум ракиты заглушил нарастающий рокот автомобиля. Александр и Лина переглянулись и заторопились к машине. Их окружили товарищи, пришедшие проститься. Вот они, испытанные друзья: Чайка, Брызгин, Еремин, братишка Тимоня и другие. С озабоченным лицом воспитатель Четвертов еще издали смотрел на ноги Александра.

— Ну, яловые всё-таки сапоги взял? — сказал он. — То-то! На войну, брат, — не на бал.

Четвертов в последние дни отечески заботился о снаряжении новобранца. Были заказаны сапоги хромовые. Четвертов запротестовал: яловые на фронте куда удобнее хромовых.

— Я вас послушался, Семен Борисович.

Александра обступили товарищи. Он не думал раньше, что у него так много друзей. Здесь, в колонии, он обрел их. Вместе с ними учился, работал, мечтал о большой и хорошей жизни. А сколько светлых минут пережито здесь! Да, это он хотел когда-то бежать отсюда и думал, что никакие цепи его тут не удержат. А вот разумное, душевное, человечное слово оказалось крепче цепей и удержало его. И трудно теперь отвернуться от этих родных лиц.

— Вот, Саша, и сбылось твое желание, — сказал Виктор Чайка. — Всё рвался на фронт, вот и дождался. А нам что ж?..

Александр волновался всё больше и решительно оборвал минуту горького расставания:

— Ну, друзья, до свиданья!

К нему подошла Лидия Власьевна и положила руку на его плечо.

— До свиданья, Сашенька! Воюй, сынок, за Родину так, чтобы нам, твоим учителям, не было совестно за тебя.

Александр поцеловал ее сухонькую, трудовую руку:

— Обещаю вам, Лидия Власьевна, и вам, друзья мои, обещаю защищать Родину, не жалея ни сил, ни жизни. Дружбы нашей не посрамлю, и стыдно вам за меня не будет! — Порывисто обнял первым Тимошку: — Хорошо учись, братишка! Да альбом героев не забудь, пополняй.

Тимошка замигал глазами. Он хотел улыбнуться, но по щеке покатилась слеза.

Александр обнял всех по очереди. Потом торопливо вскочил в кузов. Машина рванула вперед и понеслась к городу.

Глава XVI

ВОЕННО-ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ

В недалекий городок он ехал с радостью. Его назначили в пехотное училище, — быть ему офицером. Раньше об этом даже мечтать не смел. Правда, из-за училища он не сразу попадет на фронт, зато обученный он там будет полезнее.

В училище Матросов с волнением надел военную форму. Суконная гимнастерка, синее диагоналевое полугалифе, сапоги, шинель, шапка — всё новенькое и еще пахнет нафталином.

— В этой форме даже и в Москве щегольнуть не стыдно, а? — пошутил он.

Зачисленный в училище вместе с Матросовым, Александр Воронов охорашивался, как балерина:

— Верно говоришь, тезка!

С Вороновым Саша познакомился в поезде. Вначале этот высокий и стройный весельчак и говорун с чуть раскосыми насмешливыми черными глазами ему не понравился. Саша считал, что все красивые и развязные люди — глуповаты. Потом оказалось, что Воронов совсем не развязен, а просто парень с избытком веселости.

Воронов окончил десятилетку, был начитан. Он серьезно толковал о музыке, живописи, истории и даже философии, заставляя Матросова завистливо прислушиваться. И так же, как Матросов, Александр Воронов горячо любил песни...

Однажды во время чаепития Саша запросто поднял жестяную кружку с чаем:

— Ну, веселый философ, пьем за нашу дружбу, а?

Воронов охотно чокнулся задребезжавшей посудиной.

Потом Саша подружился еще с Макеевым и Дарбадаевым.

Александр Макеев был хмур, ворчлив, тщедушен и мало привлекателен, но дружбу ценил выше всего. Только за это Матросов и мирился с его строптивым характером.

Башкир Михаил Дарбадаев — плечист, высок, подвижен, и глаза у него смелые и быстрые, как у его земляка Салавата Юлаева, на которого он хотел быть похожим. Большие жилистые руки этого недавнего комбайнера, казалось, всюду искали работы.

Эти новые друзья — разные люди, но в каждом из них Матросов находил что-нибудь хорошее. Щедро сердце на дружбу в юную пору, когда оно переполнено горячими чувствами и жизнь только начинает открываться, а цель у друзей одна и дорога общая.

Саша вообще не мог жить без друзей. Но каждого нового человека он разглядывал пытливо: а ну, каков он? Чем может быть полезен, на что способен, что из него может выйти?

— Вот и есть три Сашки и один Мишка, — шутил Матросов, довольно потирая руки. — Везет мне на друзей!

— Сам виноват, — смеялся Дарбадаев. — Совсем свойский парень.

Но дружба их вскоре подверглась испытанию.

Друзей назначили в стрелковую роту.

Матросов, получив автомат, сразу разобрал его до последней детали. Макеев насмешливо изумился такой дерзости.

— Больно прыткий ты! Оно, скажем, разобрать-то всякий сумеет. А соберет — дядя?

— Сам соберу! — сказал Матросов и весело подмигнул. — Ну, братки, и машинка же! Эта не подведет!

— Да подвести-то может не она, — намекнул Макеев.

Матросов значительно взглянул на него и стал медленно собирать автомат.

Сроки учебы были ускорены. Программу училища приходилось одолевать в пять раз быстрее, чем в мирное

время. Фронту требовались новые командиры. Время грозное: в боях решалась судьба Родины.

Подразделения курсантов соревновались в учебе. Успех подразделения зависел от каждого курсанта.

На стрельбище Макеев и Дарбадаев плохо стреляли. Матросов недовольно хмурился. Он подал заявление комсоргу роты о вступлении в комсомол и старался, чтоб не только у него, но и во всем подразделении всё шло хорошо, — а дружки портили дело! Он не вытерпел, язвительно заметил:

— Автомат — не лейка, мишень не огород, — что льете зря?

— Да мне, понимаешь, куда легче б фашиста бить оглоблей по голове, — оправдывался Дарбадаев. — А ложе автомата, понимаешь, как перышко, в руках не чувствую. — И показал ладони, широкие, как лопата.

А Макеев злобно накинулся на Матросова:

— Какое тебе дело, как я стреляю? Чего взъелся? А еще друг!

— Потому, тезка, и взъелся, что друг. Роту назад тянете, что ж мне — веселиться, что дружки мои всех назад потянули? Да?

— Невыносимый ты человек! — выпалил Макеев. — От тебя и в казарме нет покоя. Замучил своими правилами: громко не говори и сапогами не стучи, когда спят, будто спят дворяне. Под ноги не плюй и ничего не бросай, листы книги не загибай, каждую вещь положи на свое место, а не бросай. Словом, придира и въедливый, как перец.

За Матросова вступился Воронов:

— Что же, тезка, эти правила полезные.

А Матросов уже смеялся, потирая руки и вспоминая, как и он сам когда-то называл мастера Сергея Львовича придирой.

— А ты, Макеша, всё-таки эти правила запомнил! Вот только одно забыл: заправлять койку так, чтоб она улыбалась...

— Учишь других, а сам не умеешь делать повороты на ходу! — злорадно упрекнул его Макеев. — На смотре ты опозоришь всю роту.

— А это верно, тезка, — сразу согласился Матросов. — Спасибо. Не я буду, если не подтянусь. Повороты — беда моя.

— Мы себя еще покажем! — не унимался Макеев. — Не робкие. В пух и прах будем фашистов бить.

— Не робкие! Этого мало, — опять не смолчал Матросов. — Товарищ Сталин говорит, что успех только тогда обеспечен, когда смелость и отвага сочетаются со знанием дела. Ясно, Макеша? Значит, пользы от нас больше, если лучше знаем и владеем оружием. Верно? Значит, интерес у нас общий и дружба должна помогать во всем. А плохую дружбу — по шапке.

— Дело хозяйское, — проворчал Макеев.

— Да ты чего злишься? — нахмурился Матросов — Или мне надо было тебя похвалить, что плохо стреляешь? Нет, тезка, по-моему, друг должен помочь другу стать лучше, чем он есть, и поэтому говорить в глаза беспощадную правду. Так я понимаю.

— Правильно, — согласились Воронов и Дарбадаев.

Макеев надулся и до вечера не разговаривал с ними. Друзей это не удивило. Иногда, дуясь, он мог не разговаривать по нескольку дней.

После поверки Матросов склонился над книгой и тетрадкой и сидел дольше других. Потом, позабыв уже про ссору с Макеевым, обратился к нему:

— Тезка, вот бьюсь, и не пойму. Помоги, Макеша! Как пользоваться азимутом [1] в лесистой местности при тумане?

Тот недоверчиво покосился на Матросова, но, видя его ясный, бесхитростный взгляд, смущенно ответил:

— Не знаю.

— Ладно. Сбегаю к дяде. В третьей роте — агроном-топограф. Душевный усач, знающий.

— Ну, что ты! .. — не глядя в глаза, сказал Макеев. — Не ходи. Если что в голову мою не лезет, я бросаю. В другой раз восприму. Да и совестно к соседям бегать из-за всякого азимута. Завтра преподаватель разъяснит.

— Всё равно не усну: дело не довел до конца.

— Ну и непоседа же! — дивились друзья. — Вчера ходил в первую роту узнавать у физика, можно ли

---

[1] Азимут — угол, образуемый между направлением на север и направлением на какой-нибудь земной предмет. Наметив по компасу нужный азимут, можно двигаться в избранном направлении.

использовать атомную силу для полета на другие планеты. Третьего дня спрашивал инженера в шестой роте об устройстве паровой турбины. Прямо непоседа.

Через час Матросов вернулся с газетами в руках.

— Ну и народ, какой народ! — радостно говорил он. — Вот здесь про нашу чкаловскую землячку сказано. Смотрите, что она пишет товарищу Сталину, наша колхозница Агафья Ивановна:

«Москва, Кремль, товарищу Сталину.

Родной Иосиф Виссарионович! Муж мой сражается на фронте, а я хочу ему и своей Красной Армии помочь быстрее разбить врага. Все свои сбережения, заработанные честным трудом в колхозе, я отдаю на строительство танковой колонны имени Чкалова. Я внесла в Госбанк сто тысяч рублей наличными деньгами. Пусть танк, построенный на мои трудовые средства, беспощадно истребляет фашистов и несет освобождение нашим сестрам и братьям. Желаю Вам, товарищ Сталин, здоровья и сил на долгие годы.

Зубкова Агафья Ивановна, колхозница артели «Шестнадцатый Партсъезд». Ташлинского района, Чкаловской области».

— Это тоже и моя землячка, — с гордостью сказал Воронов..

— Товарищ Сталин ответил ей, — продолжал читать Матросов:

«Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Агафья Ивановна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.

И. Сталин».

Понимаете, вся газета заполнена такими письмами, как Зубковой. Заводы и колхозы, многие советские люди, академики, рабочие, колхозники вносят тысячи и миллионы рублей на вооружение Красной Армии.

— Неугомонный, спать ложись! — ласково сказал Воронов.

— Ну, понимаешь, до чего ж здо́рово! — говорил, раздеваясь, Матросов. — В третьей роте газеты достал; о применении азимута узнал.

— Прямо одно беспокойство с тобой, Сашка! — примирительно усмехнулся Макеев. — Сам всё петушишься и людей баламутишь. То ты бегаешь за советом, то к тебе бегут...

— Спешу, тезка, подучиться. На фронте некогда будет, а воевать надо умело.

В училище была большая библиотека. Матросов подолгу сидел в ней, торопливо заносил в свои конспекты всё, что узнавал из книг. Он настойчиво изучал боевую технику и уставы.

Поначалу Саша плохо делал в строю повороты на ходу. Его это очень угнетало. И в свободное от занятий время он один, подавая себе команду, шагал, делал повороты, упорно добиваясь четкости движений, пока не научился держаться в строю образцово.

★

Начальник училища внимательно просматривал список курсантов-отличников боевой и политической подготовки перед занесением их на доску почета.

— Это который Матросов? Из одиннадцатой роты?

— Точно, товарищ полковник, — ответил адъютант.

— Отличный будет командир.

У доски почета толпились курсанты:

— Ого, здесь и Матросов!

— Это какой?

— Да тот, что в нашей роте про азимут спрашивал.

— Это наш! — громко и гордо возгласил Дарбадаев. — Дружок мой.

В училище Матросов находил время и для участия в клубной художественной самодеятельности, пел в хоре. В кружке он обрел еще одного кровного друга — Петра Антощенко. Этот медлительный чернобровый парень пел так задушевно и самозабвенно, что Матросов подолгу заглядывался на него и как-то спросил:

— Ты про что думаешь, когда поешь?

— Про Лесю, жинку, — сразу ответил тот.

— А какой ты области?

— Та Запорожской же. Недалечко от Днепрогэса живу. Ты, може, и сам слышал, — в Москве на сельскохозяйственной выставке наш колхоз «Червоный партизан» золотую медаль получил.

— «Червоный партизан»? — чуть не вскрикнул Матросов. — Я же там был... А ты про Данько слышал?

— Про кого?

— Сказка такая... Отчего полевой мак цветет...

— Так дидуся ж наш мне рассказывал...

— А как деда звать?

— Та Макар же.

Матросов порывисто схватил руку Антощенко и сжал ее до хруста:

— Петро, запомни: друг ты мне по гроб. Родней брата! Я деда твоего в сердце ношу. Жив он?

— Та живой... был живой, а теперь, может, и нет.

Антощенко рассказал: он с отцом бежал от фашистов с Украины, а мать, жена Леся и дед остались. Теперь там враги хозяйничают, и от родных нет вестей.

Матросов, волнуясь, рассказал Петру о памятной своей встрече с его дедом у Днепра, в колхозном саду.

— Век его помнить буду. Это замечательный дед, верь совести. Припоминаю, Петро, он и про тебя говорил, что ты больше всех пионеров колосков насобирал.

— Смотри ж ты, где встретились! — изумился Антощенко. — Ну, как же я тебя раньше не признал? Через дидусю мы с тобой прямо-таки родня. А с родней всегда легче. Отвоюемся, поедем до нас. Я тебя закормлю кавунами та виноградом, и песен наспиваемся вволюшку.

Так началась эта дружба.

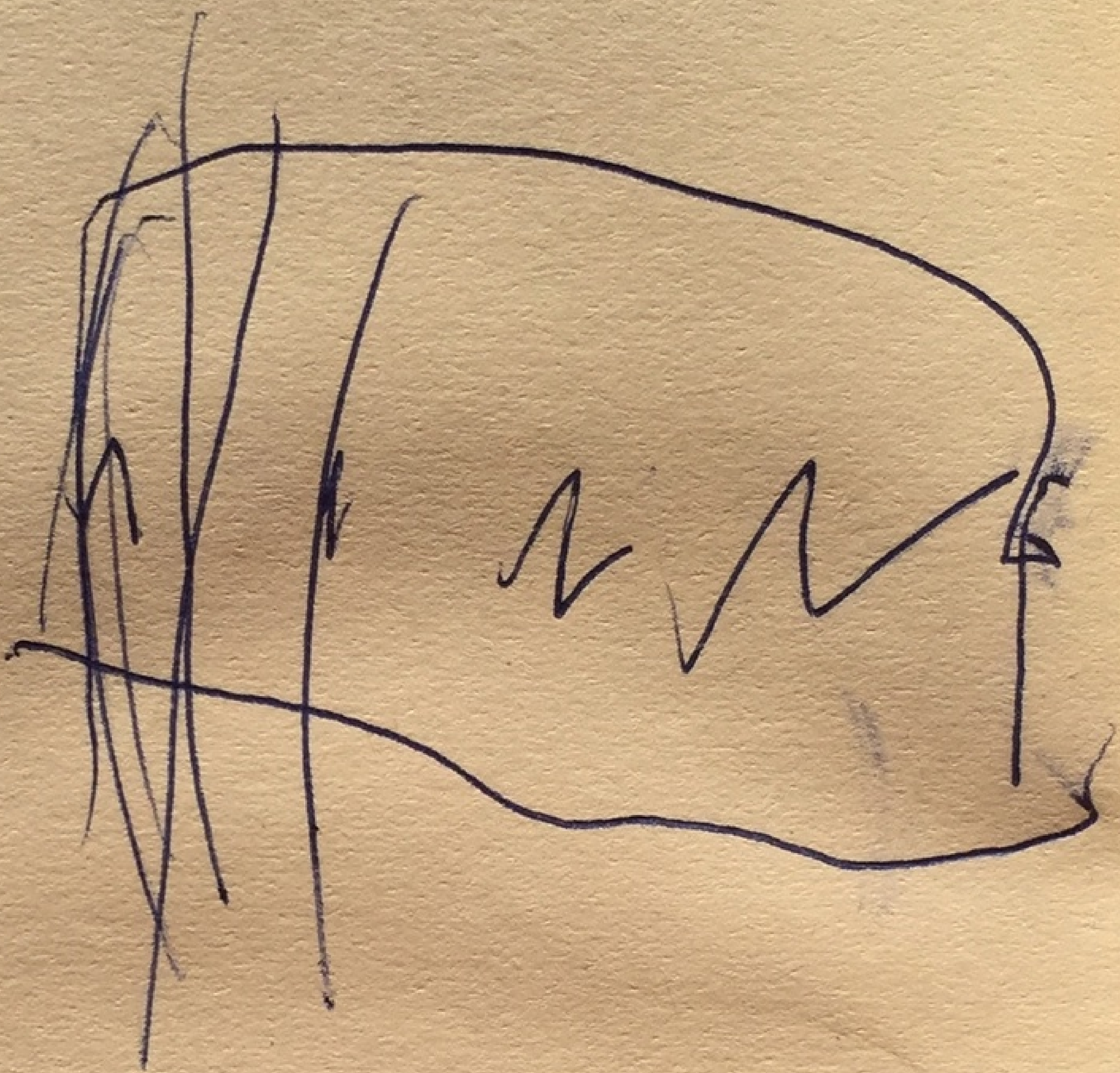
Но вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление о принятии Матросова в комсомол. Матросов волновался: впервые он должен был говорить о себе, о своей жизни перед таким большим, многолюдным собранием. Хотел произнести тут такую горячую речь, которая открыла бы всю глубину его сердца. Хотел сказать, как он, сирота, пропадал, беспризорничая, и как его подобрали, приютили, обласкали и вывели на широкую светлую дорогу жизни. Хотел сказать, как любит он свою чудесную страну, где не может пропасть ни один человек и где всякому доступно счастье. Но говорить ему было трудно. Казалось, что воротник, словно тиски, сжимает горло.

— Родился в семье рабочего, в Днепропетровске. Перед призывом на военную службу воспитывался в Уфимской трудовой колонии. А как жил до колонии, — стыдно мне говорить. Как слепой крот в черной норе...

Он опустил глаза, умолк. Но нестерпимая тишина торопила его, а он не знал, что̀ еще сказать:

— Если б можно было всё повернуть назад, я жил бы по-иному. Да жаль, — нельзя. Близок локоть, да не уку-

К стр. 121



сишь. Вот и время упустил для учебы, прямо волосы на себе рвал бы, — так жаль! Всеми силами теперь стараюсь наверстать упущенное и, вижу, это вполне возможно. Только сам не ленись. Это вот я твердо знаю, что меня, как траву при дороге, затоптали бы в любой капиталистической стране.

Он рукой стер со лба пот и рассказал о перепутьях своей бездомной жизни и о том, как трудовая колония и сама советская жизнь поднимали его на ноги.

— Почему вступаешь в комсомол? — спросили его.

Матросова даже удивил такой простой вопрос. Но тут же понял, как трудно на него ответить: ответ должен содержать весь смысл жизни.

— Ну, как почему? — смутился он. — Ну, чтоб жить лучше, чтоб стать активным борцом, ну...

— Смелей, смелей, товарищ!

— Да что ж! Комсомол — первый помощник партии. А партия руководит борьбой за коммунизм и счастье всех трудящихся. Пусть партия, комсомол и меня считают надежным бойцом. Верьте совести, не подведу.

Был еще один вопрос: почему он до сих пор не вступил в комсомол?

— Не имел права, — сразу ответил он. — В комсомол нельзя итти с плохими показателями. Комсомолец — передовой, а я отставал. Теперь я немного подтянулся и, верьте совести, буду стараться всё делать по-комсомольски.

Больше вопросов не было. Остальное было понятно.

В прениях первым выступил Антощенко:

— Як сирота плаче, никто не баче. Натерпелся и Матросов, когда бродяжил. Теперь сознание у него есть, и гадаю, — боец будет добрый. Предлагаю принять.

Матросова приняли в комсомол единогласно.

В середине января училище вдруг получило приказ: часть личного состава отправить на фронт. Матросов не попал в маршевую роту и был оставлен в училище. Он очень огорчился и подал начальнику рапорт с просьбой послать и его на фронт.

Начальник вызвал его к себе.

Матросов, печатая шаг, подошел к начальнику, вытянувшись, стукнул каблуками и вскинул руку:

— Товарищ полковник, курсант Матросов по вашему приказанию явился!

Полковник хмуро полюбовался его выправкой и строго спросил:

— Ну, в чем дело? Без вас у меня хлопот хватает.

— Разрешите доложить... Я так понимаю обстановку, товарищ полковник. Сталинград отбили, на всех фронтах сломили фашистов. Теперь только их бить и бить, не переставая, чтобы перья летели! Нельзя давать им передышки. И на фронте сейчас каждый боец важней, чем после. Включите меня в маршевую роту, товарищ полковник, прошу вас, очень прошу!..

Начальник слушал внимательно, пытливо взвешивая слова Матросова; и лицо его прояснялось всё больше. Матросов почувствовал себя увереннее:

— Каждый советский человек хочет что-нибудь сделать, чтоб скорее побить врага. Везде, на заводах и в колхозах, люди дни и ночи работают. Верьте совести, и я не подведу.

— А меня, думаете, не тянет туда? Старик, думаете? И я бы их бил, чтоб с них перья летели, — произнес полковник вставая. И, скупо улыбнувшись, взволнованно сказал:

— Хорошо. Включу вас в маршевую роту. Идите! Желаю боевых успехов.

Через несколько дней маршевые роты курсантов пехотного училища стройно шагали на станцию, отправляясь на фронт. Над глубокими и чистыми январскими снегами гремела призывная грозная песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

И в звонких голосах запевал слышался и голос Матросова:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Он вспоминал друзей, думал о Лине; и на сердце было легко: да, друзья поймут и одобрят его решение.

Глава XVII

НА ФРОНТ

Быстро мчался воинский эшелон. Играл баян, и летела могучая солдатская песня навстречу бескрайним заснеженным полям и лесам, деревням и селам. Стремительно пролетал эшелон полустанки и станции, запруженные людьми, вагонами, машинами. И солдатам казалось, будто всё раздвигается перед ним, уступая дорогу. А приглядишься, — всё движется и спешит на запад, на фронт. Бежали груженые поезда, везли боеприпасы, продовольствие, одежду. На платформах, в чехлах под брезентами, как мамонты, опустив грозные хоботы, стояли танки. Дни и ночи непрерывно потоки поездов мчались на запад, на фронт.

В этом великом напряжении всей страны, в движении поездов и людей чувствовалось неукротимое устремление миллионов человеческих воль, спаянных и направленных к единой цели всеобъемлющим разумом партии большевиков.

Матросов задумчиво смотрел в обледенелое окно, мысленно повторяя мудрые слова: «Великая энергия рождается для великой цели». Да, партия, Сталин пробудили великую силу в народе и указали ему благороднейшую цель освобождения страны и всего мира от фашистского варварства. И поезда мчат фронту снаряды, одежду, хлеб — всё, что сделали для победы трудовые руки чкаловской колхозницы Агафьи Зубковой, уральского сталевара Усова, башкирской швеи Уразбековой и миллионов подобных им советских людей.

На стыках рельсов ритмично стучали колеса. Мутный свет пасмурного дня едва проникает сквозь обледенелые окна вагона. Уже перепеты все песни, угомонился вихрастый гармонист Павел Костылев. Бойцы в полумраке с увлечением играли теперь в шахматы и домино. Только Антощенко всё еще сидел у окна против Матросова и тихо пел грустные украинские песни.

Перед Матросовым — книга. Он уже успел прочесть ее и листал, повторяя подчеркнутые места. Хотелось как можно больше сохранить в памяти хорошего, поучительного. Вот волнующие слова товарища Сталина:

«Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей».

Матросов еще раз повторил эти слова и, закрыв глаза, задумался.

Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями; он взглянул на Антощенко и улыбнулся.

Антощенко, широко открыв черные глаза, завороженно глядел куда-то вдаль и, покачивая головой, вдохновенно декламировал:

Ой, сердце все лыне в той гай золотый,
Де Леся спивала про щастя и долю.
Ой, витре, мий брате, мий висных крылатый,
Лети ж ты по морю, по чистому полю,
Скажи моий Леси, що вирно люблю.

Заметив, что Матросов внимательно слушает его, Петро сразу замолк, опустил глаза.

— Чьи это стихи, Петро?

— Та ничьи.

— Как ничьи? Хорошие и ничьи?

— Та не сердься, друже, — мои вирши.

— Ох, Антошка, да ты поэт!

— Не смейся. То я про Лесю нарочно так складаю слова, щоб их спивать можно было.

— Ну, еще читай.

— А ты часом не шуткуешь?

— Вот чудак! Да просто ж хорошо! Читай!

Антощенко читает стихи о Лесе уже с грустным лицом и без прежнего душевного подъема. А когда кончил

читать, глаза его повлажнели, губы по-детски дрогнули, он отвернулся.

— Ну, что ж ты, Петрусь! . . — участливо сказал Матросов. — Такие хорошие стихи, а ты насупился.

— Знал бы ты, Сашко, як тяжко сердцу! — тихо сказал Антощенко. — Чую, фашист-зверюга издевается над Лесей и семьей. А може, замучил уже, а я тут вирши складаю.

Матросов задумался. Какими словами утешить друга? Поезд подошел к большой станции, забитой эшелонами и людьми.

— Где чайник? За кипятком пойду.

— Не твой черед, Саша, — мой, — сказал Костылев.

— Ничего. Доброе дело можно делать и вне очереди.

Он любил ходить на станции: там можно увидеть много незнакомых людей, узнать последние оперативные сводки, добыть газеты.

С чайником в руке Матросов побежал к вокзалу. У витрины — толпа... Люди читали сводку. Саша приподнимается на носки, чтобы лучше видеть.

Прочитав сводку, он довольно усмехнулся и сказал соседу:

— Хорошо! На всех фронтах разворачиваются большие дела.

С хорошим настроением он подбежал к кубу с кипятком. Тут оказался непорядок. В клубящемся облаке пара толпились люди, толкали друг друга, обжигаясь, проливали кипяток.

Матросов с минуту удивленно смотрел на бестолочь и не захотел ее больше терпеть. Он еще был под впечатлением прочитанного. Как это люди не понимают, что надо всё делать организованно, аккуратно!

— Ну-ка, военные, покажем пример, — властно заговорил он. — Так дело не пойдет. Кипятку не возьмем и ошпарим друг друга. Стройся в очередь! Ну, кому говорю? Становись в затылок!

Саша быстро навел порядок. Люди благодарили его, уходя с кипятком.

— Молодец! По-нашему, по-военному, — сказала ему девушка в новеньком ватнике, туго затянутом ремнем. Обожженное морозными ветрами лицо ее осветилось улыбкой, и в черных глазах — веселый огонек.

Матросов вздрогнул от удивления: где и когда он

видел этот вздернутый носик и коричневую родинку около носа?

— Мы с вами будто встречались где-то? — спросил он.

— Я из Ленинграда, — ответила девушка.

— Из Ленинграда? — недоуменно переспросил Саша.

— Ну да, ведь я же вам только что об этом сказала!

Девушка порывисто сдвинула шапку-ушанку на затылок и не смогла умолчать о своей радости.

— Сводку знаете? — И, не дожидаясь ответа, быстро заговорила: — Войска Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокаду Ленинграда! Теперь бьют фашистов в Синявинских болотах. Вот хорошо-то!

— Знаю: я только что прочел сводку, — улыбнувшись, ответил Саша. Подумав немного, он спросил: — Скажите мне, как вас зовут?

— Людмила Чижова.

— Люда? — почти вскрикнул он.

— Ну да! — засмеялась она. — Сержант отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Вон наши вагоны в конце вашего эшелона.

— Товарищ сержант, а вы не были на Днепропетровщине?

Девушка всмотрелась в Матросова, вдруг просияла и обхватила его шею руками:

— Саша! Родной Саша! Да я ж думала, что ты совсем пропал. Да как я тебя сразу не узнала? Помнишь, как мы с тобой альбом разрисовывали?

— Ну вот, — стыдливо и осторожно отстраняясь от Люды, сказал он, — а говоришь: «Я из Ленинграда!»

— А как же, Сашенька? Ведь я студентка Ленинградского университета. Понимаешь?

Они так увлеклись воспоминаниями, что и не заметили, как подошли уже к вагонам зенитного дивизиона. Спешили поговорить обо всем, боясь, что судьба, так неожиданно и щедро наградившая их этой желанной встречей, так же быстро и оборвет ее.

— Ну, какой же я индюк! — засмеялся он. — Как я не заметил, как не почувствовал, что к нашему эшелону прицепили ваш дивизион и что ты, Люда, едешь со мной в одном поезде! Говоришь, студентка? Но почему же ты тут?

— Да я бы ни за что не уехала из Ленинграда. Обстрелы и бомбежки не пугали меня. Только надо было, — заставили эвакуироваться.

Он слушал ее, жадно ловя каждое слово: многое еще ему хотелось узнать о Ленинграде, о ней самой. Но вот уже свистнул паровоз.

В черных ее глазах искрился ласковый огонек:

— Ты ж скорей приходи к нам. Наши девушки рады будут, — ой, как рады! Петь будем, чай пить. Ох, и запируем, Сашенька.

— Спасибо, приду.

— Может, в Москве будем. По музеям вместе походим, — говорила она. — А в Ленинграде после войны встретимся, весь город осмотрим.

Их эшелон, дрогнув, тихо тронулся.

— Не прощаюсь, — махнула она рукой. — Увидимся на следующей станции. Ждать буду, приходи, — и побежала к своему вагону.

Запыхавшийся и радостный, он вскочил в свой вагон:

— Почему тихо? Дружки мои, ну и хорошую же я сводку читал!

— Сводка сводкой, — усмехнулся Воронов, — а мы боялись, что ты отстанешь. Заговорился с девушкой и о нас забыл.

— Э, да у него и кипяток ледком покрылся!

— Какая девушка, хлопцы! — искренне восторгался Матросов. — Какая девушка! Обстрелянная и смелая. Настоящая ленинградка. И, оказывается, моя старая знакомая. Вы сами увидите, какая это редкая девушка.

— Приглашала тебя одного или всех? — спросил Дарбадаев. — Что ж, пойдем. — Потом задумчиво проговорил: — Только и у нас в Башкирии девушки не хуже. Иная летит на коне, как птица.

— А твоя знакомая песни спивает? — спросил Антощенко.

— Еще как!

— Можно с ней поспивать, — вздохнул Петро. — Только знаю: никто на свете не может петь краше моей Леси. Бывало на човне плывем по Днепру, а песня летит на всю степь.

Матросов снял ушанку, потер лоб ладонью.

— Слушай, хлопцы, сводку. Сообщение Совинформбюро.

— Сталинград как? — не вытерпел Воронов.

— Там наши добивают окруженных гитлеровцев. А в Ленинграде прорвана блокада.

Люди вскочили с полок, окружили Матросова, зашумели в радостном возбуждении. Кто-то крикнул «ура!»

— Везде наши наступают и бьют фашистов, — взволнованно говорил Матросов. — На Юго-Западном фронте наши заняли Белую Калитву, Каменск, форсировали Северный Донец. Под Великими Луками наши тоже погнали фашистов. Бьют и гонят их на Северо-Кавказском и на Воронежском. Заняли города Валуйки, Уразово. Полностью окружена вражеская группировка в районе Каменка — Россошь и уничтожается. А в тылах у гитлеровцев везде орудуют наши партизаны. Скорей бы и нам дорваться! — нетерпеливо потер он руки.

Неудержимо мчался эшелон. Безостановочно проскочили несколько станций и полустанков.

Матросов долго смотрел в обледенелое окно. Всё гуще становились синие сумерки. Он укрепил на столике зажженную свечу и стал писать письма Лине, воспитателю Четвертову и Тимошке. Вспомнил других своих

друзей по колонии. Перед отъездом из училища он получил письма от Брызгина и Чайки. Они уже в армии. Еремин стал мастером на фабрике. «А как там Тимошка, Тимоня? Эх ты, Жак Паганель, мой курносый братишка! Писал, что стал теперь стахановцем».

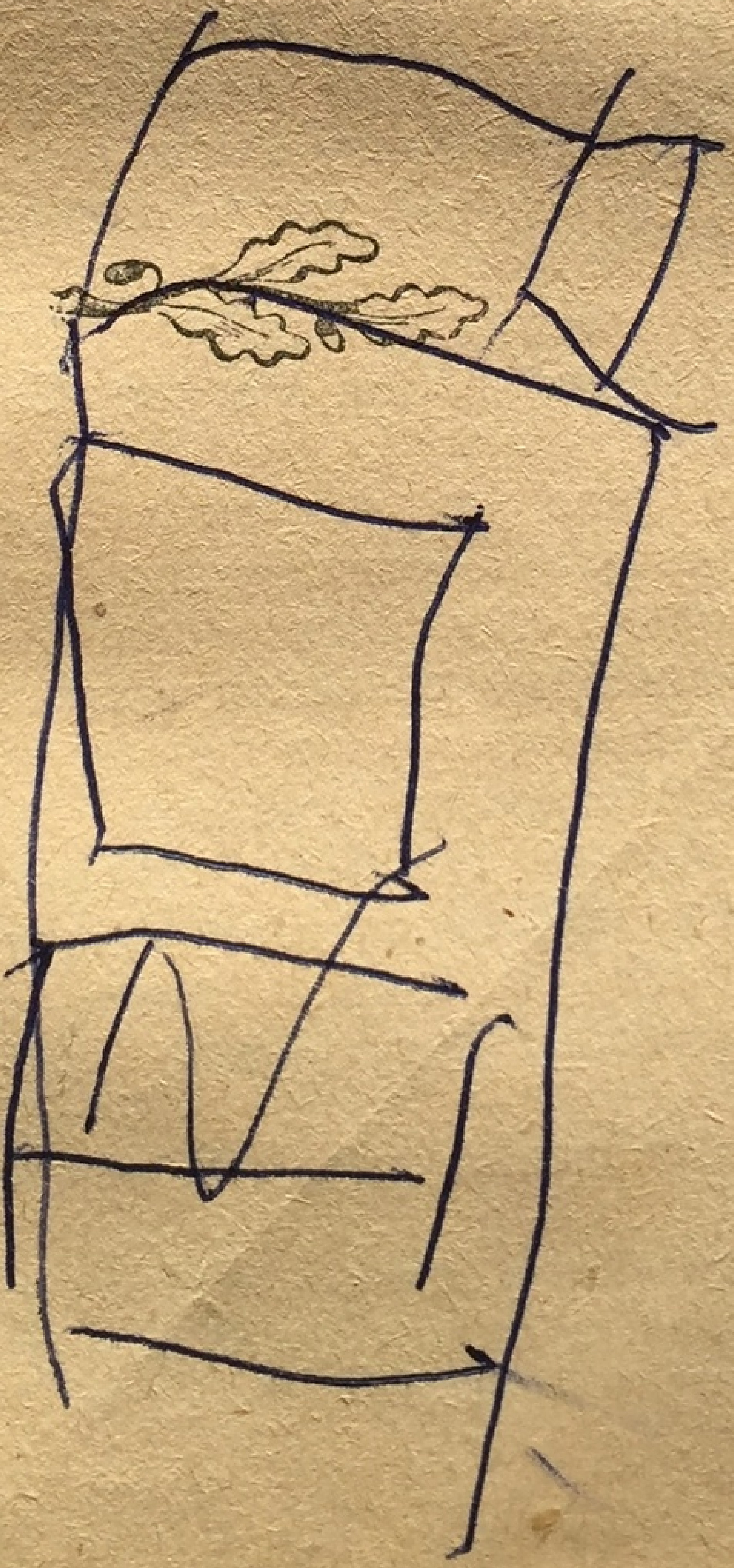
Дробно стучали на стыках колеса. Мчался эшелон, огнями рассекая черноту ночи. И долго еще, склоняясь у свечи, писал Матросов.

Но вот поезд замедлил ход. Люди прильнули к окнам. Видно, большая станция. При непонятных световых вспышках резко из темноты выделялись огромные черные силуэты заводских труб, корпусов. Поезд остановился, и бойцы кинулись к выходу. Первым спрыгнул с подножки Костылев.

— Где зенитный дивизион, Саша?

— Тише ты, индюк! Военная тайна.

Костылев нетерпеливо схватил Матросова за руку, и они быстро пошли в конец эшелона.



Глава XVIII

ФИЛИ

Синий тусклый свет фонарей слабо освещал рельсы, вагоны. Станция, видно, большая; много эшелонов, разноголосые гудки паровозов. В конце эшелона, куда Матросов вел друзей, играл баян. В синем полумраке навстречу им шла девушка в шинели. Матросов сразу узнал ее.

— Саша, ну скорей же! — подбежала и заторопила его Люда.

— Какая станция, Люда?

— Станция Фили. Вон Москва, Сашенька, — кивнула она.

Замедлив шаг, он взглянул туда, куда показала Люда. Там ничего не было видно. Город был тщательно затемнен. Только слышался отдаленный гул, да изредка голубые трамвайные вспышки выхватывали из темноты никогда не виданные им, но почему-то знакомые очертания города. Матросову хотелось остановиться, поговорить еще о Москве. Но Люда торопила его:

— Пойдем, пойдем скорее, — ждут!

Вокруг баяна в слабом синем свете фонаря уже пели и танцовали, пристукивая каблуками о мерзлую землю.

Людмила схватила за руку Сашу и втянула в бурлящий круг.

Танцовали уже и друзья Матросова — Воронов, Дарбадаев, Макеев, а белый вихор Костылева, высокого, но

верткого, мелькал всюду. Только Антощенко стоял, хмуро насупясь. Матросов понимал его тоску и всегда старался утешить, развлечь его. Он подошел и теперь к нему:

— Петро, что нос повесил, когда все веселятся? Иди в круг, кажи товар лицом.

— Эй, гармонист! — отчаянно крикнул Антощенко. — Давай гопака! Да такого, щоб земля гнулась!

Вначале с ним в круге танцовало с десяток бойцов и девушек в солдатских шинелях. Потом в круге становилось всё теснее. Антощенко так стремительно танцовал, крутясь, приседая, подпрыгивая, загребая и выстукивая каблуками, что только полы шинели мелькали, как крылья огромной птицы, и снежная пыль разлеталась кругом.

— Гоп-гоп! Гоп-гоп! — приговаривал он и кричал гармонисту: — Ще жару! Дай огня!

— Ну и Антошка! — смеясь, дивился Матросов. — Не знал его таким. Вот и пойми его: неповоротлив, молчалив, неуклюж, — а он быстрый, как вихрь.

В кругу остались только Люда и Петро. Теперь они, уже не суетясь, старались показать свое мастерство. То Антощенко «навпрысядки» рыл каблуками землю, замысловато крутя «кренделя» и вскидывая ноги выше головы, а она вокруг него плыла павою, то оба неслись по кругу в буревом неистовстве.

Наконец гармонист устал, и танцующие под одобрительные возгласы вышли из круга, раскрасневшиеся, усталые и довольные.

Костылев сразу же дернул Матросова за рукав:

— Скорей познакомь с Людой!

Матросов представил ей своих друзей, а она познакомила их со своими подругами.

— Вот потанцовали вместе, — весело сказала Люда, — и знакомство крепче будет.

— Ну, расскажи, Люда, про Ленинград, — попросил Матросов.

— Что ж говорить? — улыбнулась Люда, всё еще находясь под впечатлением танцев. — Меня раз-таки чуть не убили проклятые фрицы, честное слово. Наш отряд рыл траншеи на Марсовом поле. А я, знаешь, из учетного бюро по набережной Невы несла девушкам продовольственные карточки. И только дошла до Фонтанки, фашисты начали обстрел: и так бьют — вода в Неве от

взрывов снарядов бурлит и фонтанами летит выше домов. Осколки свистят. Я бегу вдоль Летнего сада. Думаю, — проскочу. А моряки с кораблей кричат мне: «Ложись, девушка, — сшибет!» А я так бегу, что дух захватывает.

— А почему не переждала?

— Нельзя было: голодные девушки хлебных карточек ждали. А голодный какой работник? Они и так еле ноги волочили. Соберемся бывало, дрожим от холода и при коптилке говорим: неужели снова будет время, когда мы вволюшку будем есть картошку и хлеб, этот черный, ржаной, пахучий хлеб? Неужели опять будем слушать оперы, танцовать на карнавалах на Масляном лугу в Кировском парке? Как не умели мы ценить нашу мирную жизнь! И вот так помечтаем, потом озлимся, кинемся на работу и до упаду работаем. Хорошие у нас люди, Саша!

— Что верно, то верно, товарищ сержант, — заговорил вдруг стоящий в задних рядах боец. — Панфиловцы, например. Им Сталин на параде в ноябре сорок первого смотр делал. Своими глазами видел я.

И все повернулись к нему. Это был белорус Михась Белевич, высокий, синеглазый. Он сразу оказался в кругу и очень смутился:

— Да я что ж! Я к тому... Не боязливы люди: для Родины готовы хоть на фашистов, хоть на какие другие дела.

— Да ты говори, говори! — подбадривал его Матросов.

Белевич сдвинул набок ушанку, поправил поясной ремень и показал варежкой в сторону города, где в темноте, как всполохи, время от времени освещали небо голубые вспышки.

— В ночь на седьмое ноября мы спать не могли. О параде еще не знали, но чувствовали: будет. Чистим винтовки, пришиваем подворотнички, начищаем сапоги, — словом, готовимся. А все-таки ж тревожились: фашисты в двух переходах от Москвы. И слух был такой, будто Гитлер всё бесился и требовал от своих генералов, чтоб те как можно скорей Москву взяли. Да и авиация их могла налететь.

Часов в пять нас повели на парад. Еще темно было, а москвичи уже заполняли улицы, приветствовали нас. Шел снежок. Белели баррикады из мешков с землей. Вот

обходим танкистов. Снегом залепило их порядком. Мимо Исторического музея выходим на Красную площадь.

Построили нас на площади. Рассвело уже, и белым-бело всё кругом от снега. Облепило снегом мавзолей, кремлевскую стену, елочки у стены. Была команда «вольно», а мы недвижно стояли, как примерзли к земле, не отрываясь смотрели на трибуну мавзолея, на Спасские ворота, шепотком переговаривались.

Помню, боец Сидоров прошептал мне: «Повидать бы только товарища Сталина, а потом попрошусь в самый кромешный бой».

Раздалась команда: «Равняйсь!» И тут скоро кругом загремело такое «ура», что я кричал и своего голоса не слышал. Тут я и увидел, как товарищ Сталин поднялся на трибуну. Шинель простая, серая на нем, фуражка с красной звездочкой. Руку поднял, приветствует нас. Это ж была такая минута — никогда не забуду...

Белевич умолк. Он, видимо, не впервые рассказывал об этом, но и теперь заново переживал волнующую минуту. С таким же волнением он будет рассказывать о ней и своим детям и внукам.

— Ну, продолжай, продолжай, Михась! — просил Матросов.

— И когда он говорил, мы замерли, и стало так тихо, что слышно было, как шумел ветер в знаменах. Какие слова он говорил! Он вспоминал о том, как трудно было, когда в гражданскую четырнадцать государств напали на нашу разоренную страну! Но большевики не пали духом, потому что знали: с ними народ, — и победили. А теперь мы куда сильнее врага. И обязательно побьем его.

Смотрю я — Сидоров повеселел, улыбается, а на глазах — слезы. А как сказал Иосиф Виссарионович: «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» — тут и у меня от волнения застучало сердце и глаза, понимаете, заслезились.

Когда уходили с площади, сводный оркестр грянул ту песню, что в гражданскую войну еще пели: «Приказ голов не вешать, а глядеть вперед». Мы подхватили ее. Век того не забуду...

Ну, хлопцы, а потом пошли мы прямо в бой и так влепили фашистам, что десятки километров они мордой землю ковыряли!

— Михась, — вдруг придвинулся поближе Матросов и, точно забыв, что тут еще есть люди, горячо, взволнованно сказал: — Дай руку, Михась. Что ж ты раньше не говорил? Почему молчал? . . Люда, где ты? — поискал он глазами и, увидев, схватил ее руку. — Познакомься с Михасем. Дружки вы мои!

Два прожекторных луча вдруг полоснули над Москвой по серым низким тучам, как гигантские голубые мечи, и потом оба концами уперлись в одну точку. Бойцы взглянули туда и на минуту умолкли. Прожекторы напоминали им о неутихающей военной грозе.

Костылев развернул мехи баяна. Ему хотелось показать Люде свое искусство. Все рады были продлить минуту отдыха.

Польщенный похвалой Матросова и его друзей, Михась Белевич крикнул Костылеву:

— Ну-ка, играй «Лявониху» либо «Крыжачка»! Знаешь?

Когда раздалась команда «По вагонам!», все удивились, что так быстро кончилась стоянка в Филях.

— До свиданья, Люда, до утра, Люда, — сказал Матросов.

Рано утром на какой-то глухой станции Матросов с друзьями побежал в конец эшелона. Но Люды-зенитчицы уже не было. Вагоны дивизиона ночью где-то были отцеплены.

— Адрес! — огорченно вскрикнул Костылев. — Я даже адреса их не записал!

— Адрес у всех общий: фронт, — вздохнул Матросов.

Так снова затерялась на военных дорогах черноглазая Люда, мелькнув, как во сне, и короткой встречей оставив волнующую память о себе и ленинградцах.

Эшелон, миновав Нелидово, домчался до станции Земцы. Тут и закончился долгий путь поезда.

Глава XIX

НУЖНЫ САМЫЕ СМЕЛЫЕ

Высыпай, братки! Домой приехали, — пошутил Матросов, выскакивая из вагона.

Возбужденные солдаты весело прыгали вслед за ним на железнодорожное полотно.

Вдоль вагонов вытянулись стройные шеренги и по команде «Смирно!» замерли. Серые вещевые мешки на спинах аккуратно подтянуты.

Вдоль строя медленно шли незнакомые командиры. Оценивая новое пополнение, они пристально вглядывались в лица людей.

Матросов ловил их взгляды, всматривался в их обветренные лица. Вот они, настоящие фронтовики, обстрелянные, испытанные!

— Вольно! — охрипшим басом скомандовал рослый, с длинными седыми усами старшина Кедров в шапке-ушанке и полушубке с опаленной полой, и на широкоскулом лице его расплылась добродушная улыбка.

— Вот это гвардия! — кивнул Макееву Матросов, любуясь могучей фигурой старшины. — Как из камня высечен.

— Сибиряк, одно слово.

Вперед вышел старший лейтенант Артюхов. Туго затянут ремнями белый полушубок, меховая цигейковая шапка-ушанка чуть сдвинута набок. Вытянулся перед строем, прямой, подобранный.

— Товарищи, я отбираю в роту автоматчиков самых

смелых и смекалистых. — Серые глаза его быстры, пронзительны. — Предупреждаю: у меня трудно будет. Автоматчикам придется выполнять самые сложные боевые задачи — десантом врываться на танках в самую гущу врагов, воевать в фашистских тылах. Кому это не по плечу, — лучше помолчи. — Он подумал и еще тверже, почти сурово, раздельно сказал: — И еще имейте в виду: буду требовать беззаветной храбрости и презрения к смерти. Ну, есть желающие в мою роту?

Секунду длилась тишина. Потом отчетливо прозвучал тенорок:

— Есть такие!

Артюхов поискал глазами в рядах. Взгляд его остановился на задорно поблескивающих голубых глазах ничем не выделяющегося в шеренге паренька. Артюхов на секунду задержал взгляд на нем.

Матросов смутился и хотел отвести глаза, но выдержал взгляд командира. Не сразу он ответил ему: «Есть такие!» Подумал, способен ли он выполнить все требования, о которых говорил тот. Вспомнил свои слова, сказанные, когда его принимали в комсомол, что он всё будет делать по-комсомольски, значит, во всем будет передовым, и решил: должен выполнить эти требования. Теперь его глаза с чуть заметным озорным огоньком говорили: «Это я сказал».

К нему подошел сразу запомнившийся скуластый капитан, на молодом, почти юношеском лице которого выделялись седые виски.

— Комсомолец? — спросил он.

— Так точно, товарищ капитан!

Артюхов с довольной усмешкой повел глазами по рядам и шепнул капитану:

— Все ребята на подбор. Глаза разбегаются, не знаешь, кого и взять. — И кивнул командиру взвода — краснощекому лейтенанту Кораблеву: — Запиши сначала добровольцев.

Кораблев шагнул вперед:

— Ну, кто желает в автоматчики?

Снова недолгое молчание. Тишина.

Поднял руку Матросов. Потом, глядя на него, подняли руки Воронов, Дарбадаев, Макеев, Костылев, Белевич и многие другие. Комвзвода теперь не успевал записывать.

— Автоматчики — смелые ребята! — негромко сказал Матросов. — Пишись, братки!

Отбор закончен. Новых автоматчиков повели в часть. В лесу они шли вольным шагом. Узкую дорогу обступил густой заснеженный зеленый ельник. Монотонно хрустел снег под ногами. Матросову страсть как хотелось заговорить с кем-нибудь из командиров. Но первым начать разговор он стеснялся. Да, может, по службе это и не положено. И когда старшина Кедров заговорил с ним, он очень обрадовался.

— Это ты раньше других поднял руку?

— Я, товарищ старшина.

— То-то, я тебя заприметил сразу. Хоть у нас в Сибири и нет таких дробных, но ты, видно, сибиряк.

— Нет, я из Уфы. Но нужно ведь было кому-нибудь первому. Я комсомолец, мне иначе нельзя.

— А я, видишь, большевик и люблю смельчаков.

— Да я, товарищ старшина, собственно говоря, мечтал в разведчики. Разведчиком в тылу у врагов можно

такие дела развернуть, что любо-дорого. Но в автоматчики — тоже неплохо.

— Ясно, неплохо. В самый раз угадал.

Кедров испытующе посмотрел на Матросова. Что-то ясное и чистое было в глубине его с виду озорных глаз. А разлет бровей — резкий, орлиный. Золотисто-темные, густые ресницы и такой же пушок на верхней губе.

— Годков-то сколько?

— Девятнадцать, — не сразу ответил Матросов. Ему хотелось казаться старше перед этим усатым сибиряком, но прибавить хотя бы еще один год — неудобно.

— Это не беда, что мало. Считают не по годам, а по ухватке.

Матросов давно уже познал прелесть добрых отношений с новыми людьми. Он сближался с людьми быстро, если чувствовал, что у них можно научиться путному, узнать что-нибудь интересное. А здесь у него глаза разбегались: хотелось скорей узнать командиров своей части, опаленных пороховым дымом и овеянных боевой славой.

В сторонке мелькнул, как живой снежный ком, лесной заяц-беляк.

— Эх, мать честная-а, — вдруг встрепенулся Кедров. — Вот бы душу-то отвести, поохотиться!

— Вы охотник, товарищ старшина?

— И не говори, — хуже пьяницы! Пропадал бы в лесу... Да гляди ж ты, а вон клёст пролетел. Ишь, как звонко крикнул. До чего ж, брат, занятная птица! Гнездует клёст, выводит птенцов, даже в такое неположенное время, как теперь, в трескучий мороз.

— А это какие? — указал Матросов на стайку пичужек с черной маковкой.

— Синичка-гаечка... А вон та на снежку под елкой — голубая лазоревка. Тут обязательно должен быть и дятел-долбун. — И Кедров оглянулся. — Ну да, вон прилип рябой к стволу у сосны и кует себе. Вон, вон, черно-белый, малиновая грудка. Дело ясное: где дятел, там и синицы. Он выдалбливает в коре жучков-короедов, а синицы подбирают, лакомятся.

— Вы всё про птицу, оказывается, знаете.

— Да, я все повадки звериные и птичьи изучил.

— Я тоже очень люблю природу.

Кедров прищурившись взглянул на собеседника:

— Гоже, что любишь. Мне как раз такие по душе.

— Товарищ старшина, у меня большая просьба. Можно в наш взвод перевести Белевича? Михася Белевича, белоруса.

— Родня, что ли?

— Нет, но это такой человек!.. Словом, панфиловец. Москву защищал, понимаете, Сталина видел.

— Так и я видел.

— Видели? Где?

— В Кремле, на совещании стахановцев. И меня, значит, как кузнеца-стахановца вызвали в Кремль...

— Вот повезло! А еще кто был?

— Да кто? Стаханов сам, колхозница Маруся Демченко, кузнец Бусыгин, трактористка Паша Ангелина, — много было.

Старшину позвали к командиру роты, и он, обернувшись, пообещал:

— А насчет Белевича спрошу.

Матросов с улыбкой смотрел на богатырски широкую спину старшины.

— Антошка! — окликнул он шагающего впереди Антощенко. — Ну и везет мне на людей, ну и везет! Понимаешь, этот старшина...

— Да ты сам везучий. Видишь, примечают тебя.

Друзья были довольны назначением. В один взвод малейтенанта Кораблева попали: Матросов, Воронов, Макеев, Дарбадаев, Антощенко, Костылев и Белевич.

Новичков разместили в землянках. Матросов вошел в землянку с волнением: тут начиналась подлинная фронтовая жизнь.

— Вот они, наши хоромы! — усмехнулся он и хозяйским взглядом окинул новое жилье. Сквозь маленькое оконце скупо проникал серый дневной свет. Пахло увядшими березовыми ветвями, слежавшимся сеном.

Саша сразу увидел тут непорядки, которые легко можно было устранить. Печурка полуразвалена, стекло в оконце внизу сдвинуто, в дыру дул ветер, даже залетал снежок, на полу валялись сухие ветви.

— Эй, друзья, да этот дворец мы можем сделать уютнее! — сказал Матросов и, сбросив вещевой мешок и шинель, стал засучивать рукава гимнастерки. — А то мерзнуть вроде стыдно. Ну-ка, хлопцы, за дело!

Через несколько минут землянка была выметена,

дыра в окошке заделана, а сам Матросов заканчивал обмазывать печку.

За этой работой и застал его старшина Кедров.

— Специальность твоя печник, что ли?

— Нет, слесарь. Да ведь солдат должен всё уметь, товарищ старшина.

— Это правда, — кивнул старшина и, помолчав, сказал: — Ну, товарищи, кто член партии, — заходи ко мне в землянку. Я парторг роты.

Вечером, при свете коптилки, попыхивая у печки трубкой, Кедров с гордостью говорил новичкам из пополнения:

— Прямо вам скажу: ваше счастье, что попали к нам. Народ у нас крепкий. Словом, сибиряки, а значит, и не пугливые. Двадцать шесть контратак отбили. Земля под нами горела, а никто из наших людей не струсил. А потом, значит, выдержали мы характер и как трахнули по башке врага, — тридцать семь километров гнали его и всё били — и в хвост, и в гриву. Освободили до сорока населенных пунктов. Разбили полсотни немецких танков, шестнадцать артбатарей. Захватили сотни автомашин, много пушек и другого оружия и трофеев разных набрали уйму. Вот они какие сибиряки!

Трубка его засопела. Матросов протянул ему кисет. Вынули кисеты и другие бойцы.

— Моего покурите, товарищ старшина.

— Мой крепче, за печенку берет.

— А мой уфимский, пахучий.

Кедров, чтоб никого не обидеть, по щепотке взял из каждого кисета, набил трубку.

Матросов в знак особого уважения поднес к его трубке горящую тростинку:

— А в бою поначалу было страшновато?

— Как же не страшно? Любая букашка жить хочет, а человек и подавно. А ты его зубами стиснешь, страх этот, и делаешь, как тебе следует. Хныкать всякий умеет, а ты сам не хнычь и другого подбодри, вот тогда ты фронтовик. Да теперь и воевать куда ясней. Знаешь, за что воюешь. Вон в царскую войну, к примеру, под Тарнополем гнали меня в бой голодного и безоружного, гнали на верную смерть. А за что я должен был воевать? За наживу заводчиков и купцов-барышников? Или за то, что царь замучил моего отца на каторге, а я остался без-

родным подкидышем? — сердито спросил Кедров, шевеля седыми усами.

Все придвинулись ближе и затихли. Но старшина сопел своей трубкой, ковырял палочкой угольки в печке и молчал. Матросов не вытерпел:

— Ну, расскажите о себе, товарищ старшина. Почему подкидыш и сын каторжника?

Кедрова еле упросили рассказать о себе.

— Владимирка, — вздохнув, начал он. — Дорога такая начиналась от Москвы. Теперь шоссе Энтузиастов. По Владимирке в самую Сибирь гнали в кандалах революционеров. Так угнали и моего отца, когда я был еще сосунком...

Кедров старался говорить спокойно, а усы его часто подергивались, бурое лицо морщилось.

Мать, видно, сильно любила отца, потому что с ребенком пошла вслед за ним по бесконечной Владимирке.

Немногое он, Кедров, знает о судьбе своих родителей. С тех пор как помнит себя, он жил в богатой кулацкой семье. Его часто пинали, как щенка, кормили объедками, называли подкидышем, и он лет шести уже понял, что в этой семье — чужак. Сердобольная старуха однажды объяснила ему горький смысл слова «подкидыш» и почему его, малыша, называют этим словом. Никто не знал имени матери и ребенка. И потому, что подобрали ребенка под кедром в месяце марте, — назвали его: Мартын Кедров. А вскоре полая вода вынесла на берег реки и труп неизвестной пришлой женщины.

— Не под силу мне было у кержака, — продолжал Кедров. — Замучил меня бородач работой, да всё с богом да с укором. Подрос я малость и сбежал от него. Только попал я из огня да в полымя. Принял меня в учение один хозяйчик, владелец кузницы. Тут за всё давали подзатыльники. Переступишь — бьют, недоступишь — бьют, мало сработал — бьют, и много съел — опять бьют... Так вот я и рос и мыкался по свету, а потом, в восемнадцать лет, забрали меня в солдаты.

Он стал рассказывать, как в окопах во время прошлой мировой войны тайком читал большевистскую газету «Окопная правда» и как после революции отстаивал молодую советскую республику.

— Ой, жарко нам было! Со всех сторон, как шакалы,

лезли на нас колчаки, деникины, юденичи и с ними вся нечисть капиталистическая. У них была лучшая техника, а мы бились, чем попало...

Комсорг батальона лейтенант Брагин вошел незаметно в землянку и стоял у входа, пока Кедров не кончил говорить. Потом пробрался к печке, потирая руки. Ему сразу уступили место.

— Э, да вы, хлопцы, хорошо устроились! — весело подмигнул Брагин, окинув землянку взглядом. Лицо его было такое приветливое, что всем показалось, будто они уже давно знакомы с этим белокурым юношей в шинели. — Ага, — хлопнул он себя ладонью по колену, — так, вы, сдается, уже и о боевых традициях части заговорили? Что ж, наша часть хоть и молодая, а героев у нас уже много. Взять хотя бы нашего капитана Буграчева, помощника начальника политотдела по комсомолу. Надеемся, — звание Героя Советского Союза присвоят ему. Да вы на станции, наверно, приметили его. Молодой, а виски седые. В деле таком побывал, что поседел.

Все приготовились было слушать рассказ об одном из героев части, но к Брагину быстро подошел связной и, вытянувшись, сказал:

— Товарищ лейтенант, в штабе вас ждет капитан Буграчев.

— Легкий же он на помине! — засмеялся Брагин. — Ну что ж, товарищи, в другой раз поговорим.

Но как только Брагин и связной ушли, Матросов и его дружки стали упрашивать Кедрова, чтоб он рассказал о Буграчеве.

— Хорошо, расскажу, — согласился Кедров. — Известно, капитан — это настоящий комсомольский руководитель. Лейтенант, конечно, заговорил о нем не случайно.

Буграчев накануне войны отлично окончил сельскохозяйственную академию и начал было научную работу. Но в первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт.

В августе сорок первого года, когда наши части с тяжелыми боями отходили из Эстонии, раненый комсорг батальона Буграчев оказался в тылу у немцев. Восемь дней полз он к отдаляющейся линии фронта, полз без медицинской помощи и пищи, утоляя жажду болотной водой. По пути осматривал убитых бойцов и командиров,

уничтожал их документы, а партийные и комсомольские билеты забирал с собой. И на девятый день, когда он добрался до своих и сразу впал в беспамятство, у него нашли пятьдесят семь партийных и комсомольских билетов.

— Дело понятное, — пояснил Кедров. — Попадись он фашистам с такими документами, — верная гибель.

А когда часть вступила в бой под городом Белый и комбат был тяжело ранен, комсорг батальона Буграчев принял командование батальоном. Умелым, решительным фланговым ударом разбил он противника и занял шесть населенных пунктов. Части был открыт широкий простор для дальнейшего наступления. За эту операцию, шел слух, он и представлен командованием к званию Героя Советского Союза. Ему присвоили звание капитана и назначили помощником начальника политотдела бригады по комсомолу.

Матросов слушал Кедрова, затаив дыхание. Он и раньше искал в каждом человеке что-нибудь поучительное. Тем более его интересовали здесь дела и судьбы людей, испытанных в боях, людей, которые с этого дня будут его боевыми друзьями и наставниками. Герои, о которых он читал в газетах, были теперь рядом с ним, он еще яснее чувствовал их доблесть.

Кедров вдруг заметил входящих в землянку Буграчева и Брагина, быстро встал, хотел скомандовать: «Смирно!», но Буграчев махнул рукой:

— Не надо.

Он запросто снял шапку, сел у печки, приглаживая волосы и всматриваясь в лица бойцов.

Матросов смотрел на него, не сводя глаз. Да, именно этот вот человек, израненный и обескровленный, восемь дней и ночей сознательно рисковал жизнью, сберегая партийные и комсомольские билеты в тылу у врагов. Видно, очень трудно и страшно ему было, раз так побелели его виски. Но он преодолел страх и достиг своей цели. Это и есть настоящий человек — отважный советский воин.

Матросов взволнованно смотрел на Буграчева, ждал, что тот скажет сейчас что-нибудь особенное. Но Буграчев потер ладонью лоб и спросил:

— Хлопцы, а как у вас портянки, валенки и вообще одежда — в порядке? А то, видите ли, на войне никогда

не знаешь, что́ завтра делать прикажут... Может, тактические учения, а может, долгий марш или бой.

Он вглядывался добродушными грустными серыми глазами в лица людей. Темная прядь волос, смоченная по́том, прилипла ко лбу, уже пересеченному тремя тонкими морщинками. Без шапки у него особенно выделялись белые виски и широкие скулы. От его полушубка пахло овчиной и дымом.

Матросову раньше казалось, что герой даже внешне чем-нибудь отличается от всех людей, может быть, особым поведением, одухотворенным взглядом. Буграчев прост, как все, и вид у него даже скучный, и заговорил сразу о портянках. И всё же, несомненно, он — герой. Для него, Матросова, полны нового значения простые слова Буграчева о готовности к маршу и бою. Значит, величие духа и умная простота нераздельны.

Буграчев достал из кармана кисет:

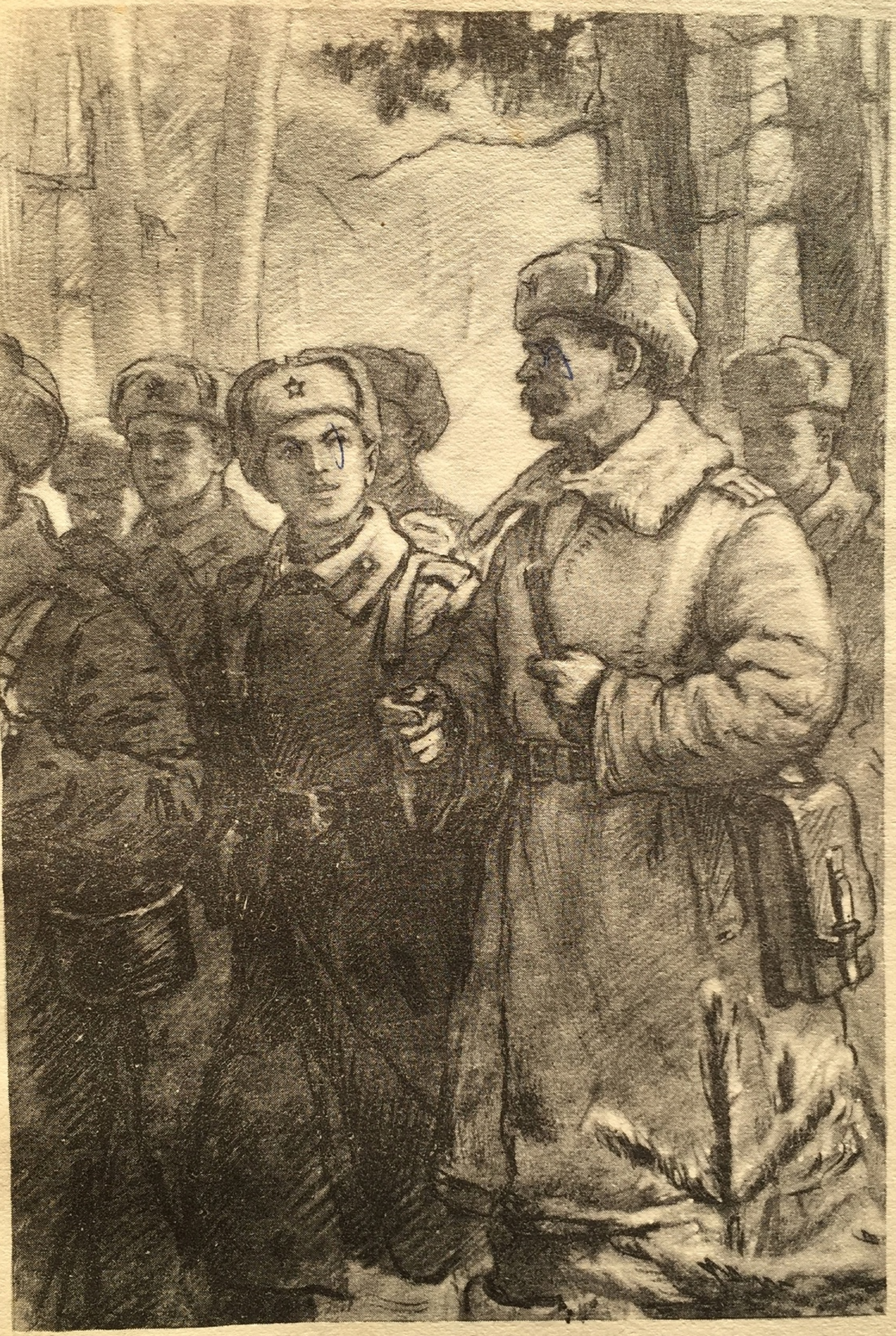
— Закуривайте, кто хочет.

Свернул толстую цыгарку, и несколько человек протянули ему огонь — кто горящую лучину, кто спичку. Он не спеша затянулся, синей вьющейся струйкой пустил вверх дым и заговорил о фронтовой жизни, о предстоящих боях, о смысле народной войны против гитлеровских захватчиков.

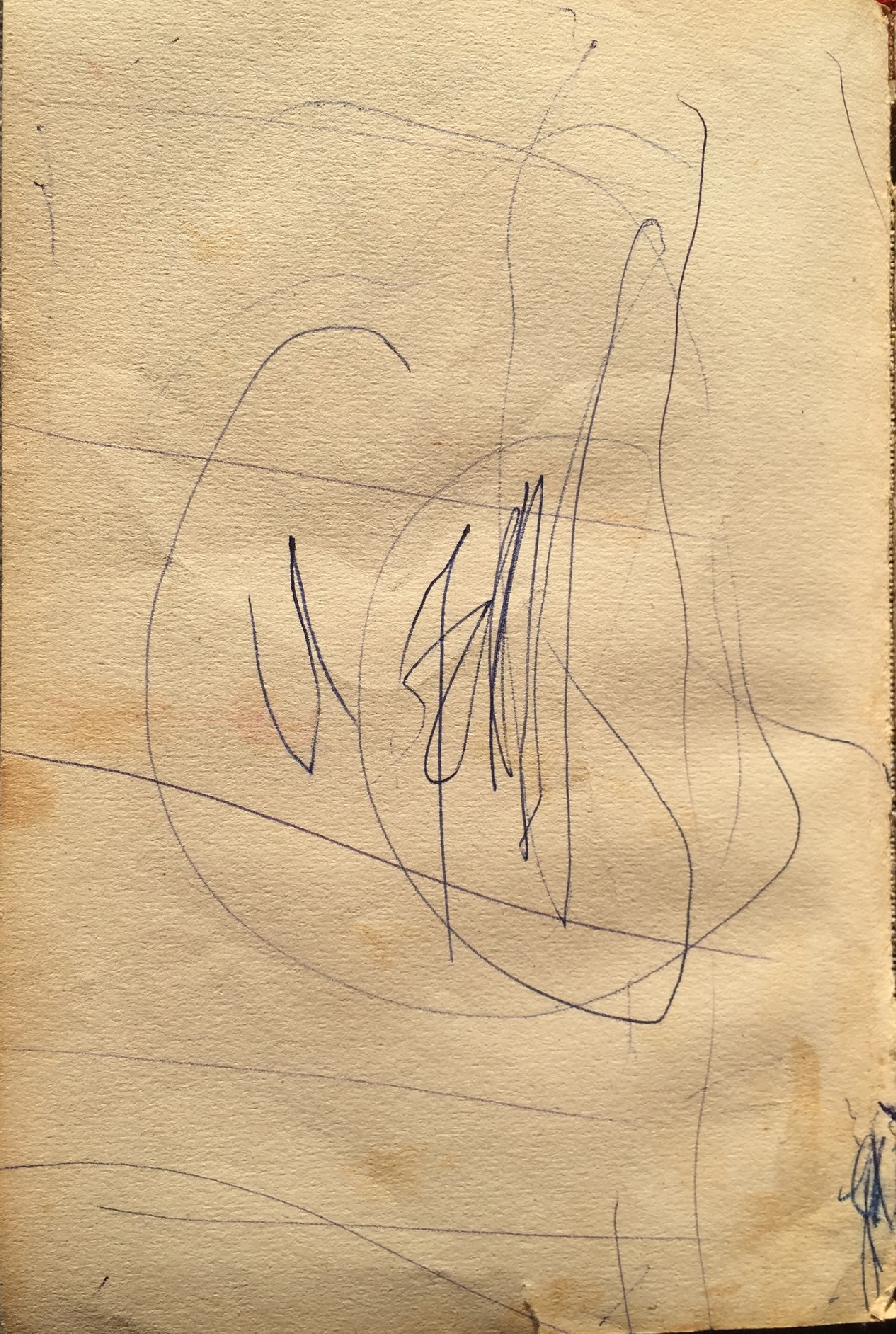
Буграчев умолк и задумался, потом окинул повеселевшими глазами людей, низкий бревенчатый потолок землянки и распахнул полушубок:

— А ведь мы, товарищи, только начинаем жить. Впереди нас ждет такая прекрасная жизнь, о какой и не мечтал человек. Это про нас в песне поется: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»... Ведь начали же мы создавать новые моря, изменять направление рек, рыть каналы, орошать пустыни, превращая их в сады и плодородные пашни, выращивать новые невиданные растения. Да, мы по усмотрению будем изменять и климат, и направление ветров... — И глубоко вздохнул, сдерживая взлет собственной фантазии.

Бойцы смотрели на него выжидающе: что скажет еще этот молодой ученый в военном полушубке. Но Буграчев молчал, задумчиво глядя в потолок землянки, будто слушая шум ветра и потрескиванье хвороста в печурке. Посветлевшее от улыбки лицо его теперь было приветливым, добродушным.



К стр. 138



Матросов упрекнул себя: ошибся он, подумав вначале, что Буграчев скучен, угрюм. Неукротимая буйная сила светилась теперь в мечтательно горящих глазах этого молодого, но уже поседевшего человека. Матросову раньше казалось, что фронтовики, претерпевшие ужасы войны, — люди суровые, озлобленные, мрачные. Тем удивительнее, что здесь, в уютной землянке, затерявшейся в лесных дебрях, так детски-простодушно и взволнованно Буграчев говорит о преобразовании природы в нашей стране. Он, видно, много знает такого, что заслушаешься.

— Товарищ капитан, — не вытерпел Матросов, — ну, пожалуйста, скажите, как это — изменять направление ветров, рек? . .

Буграчев посмотрел на Матросова. Он приметил этого паренька с бойкими пытливыми глазами еще на станции Земцы, когда отбирали автоматчиков.

— А как же? — оживился Буграчев. — Правда, это только начало, но у нас уже есть Московское море, море близ города Рыбинска [1] на Волге, море Ленина, поднятое плотиной Днепрогэса. А ученые наши уже планируют еще бо́льшие водохранилища. . .

Антощенко толкнул Матросова под бок, кивнул на Буграчева:

— Оцей капитан для мене — ходячая академия. Я ж на агронома хочу учиться, а он всё знает.

Буграчев окинул взглядом придвинувшихся к нему бойцов. Снял шапку, расстегнул полушубок и страстно заговорил о том, что всегда волновало его:

— Мы только на одной Волге построим такие гигантские гидроэлектростанции, в сравнении с которыми Днепрогэс будет малышом. Да, да. Мощные плотины поднимут новые моря, воды которых хлынут по оросительным системам в иссушенные зноем степи. Мы зальем светом города, заводы, колхозы. Мы с избытком снабдим электросилой всевозможные машины и все жилища, облегчим и украсим жизнь человека.

— А если воды нехватит? — спросил расчетливый колхозник Михась Белевич. — Гидростанции остановятся?

---

[1] Теперь город Щербаков.

— А Каспий лужей станет? — недоверчиво заметил Макеев.

Матросов посмотрел на Буграчева: сможет ли он ответить на каверзные вопросы? Но Буграчева они будто даже обрадовали:

— А мы заставим северные реки, впадающие в Ледовитый океан, повернуть свои воды на юг, куда нам потребуется.

— Как это так? — изумился Матросов.

— К примеру, на верховье Печоры создадим водохранилище, в несколько раз большее, чем Рыбинское море. Это будет огромный резерв воды, которую по мере надобности будем пускать в Каму. Во́ды сибирских рек Енисея и Оби мы перебросим через каналы в Аральское море, опресним его. Из Аму-Дарьи через пустыню Кара-Кумы проведем канал до самого Каспия, оросим бескрайние вековечные пустыни, превратим их в цветущие оазисы. Изменим климат. Никогда уже суховеи не будут угрожать нашим полям. А в Сибири мы построим гидроэлектростанции еще более грандиозные, чем на Волге. Наступление на тайгу откроет нам неисчерпаемые богатства. Засверкают огнями и там новые города, дворцы культуры, на тысячи километров потянутся фруктовые сады... Да что говорить, товарищи? Мы ведь на пороге применения атомной силы, которая двинет наши поезда, пароходы, новые машины, межпланетные самолеты...

Вдруг Буграчев умолк, нахлобучил на голову шапку, пропахшую горьким дымом фронтовых костров и пороховой копотью, поморщился так, точно острая боль пронзила сердце.

— Да... — вздохнул он, глядя в землю, и сквозь зубы продолжал тихо, будто про себя... — Ох, если бы не фашистская черная чума... В мертвую пустыню они превращают наши цветущие нивы, города и села. — Он поднял глаза и посмотрел на бойцов, тоже нахмурившихся. — А сейчас, товарищи, самое главное для нас — учиться бить фашиста, бить гада, пока не издохнет. И помнить: от дисциплины — шаг к победе... Ну, отдыхайте. Устроились вы тут, видно, неплохо.

И как только вышли из землянки Буграчев, Брагин и Кедров, — Матросов сказал дружкам:

— Видали? Вот это да! Настоящие люди. Фронтовики! Ну, прямо повезло нам, хлопцы.

В землянку быстро вошла маленькая кругленькая сандружинница Валя Щепица. Белые пушистые пряди волос, выбившись из-под серой цигейковой шапки-ушанки, закрывали уши, обрамляя круглое лицо, пухлые румяные щеки с ямочками, сердито надутые толстые розовые губы. Валя казалась капризным холеным подростком в шинели; тем удивительнее было ее внезапное появление в этой землянке.

— Инфекции, или натертость ног, или еще какие заболевания есть? — строго спросила Валя.

Все молчали. Дарбадаев спросил:

— А чем лечить, товарищ доктор, тоску по дому?

— Риванолевая примочка к носу помогает, — так же строго сказала Валя. — Или горчичник на язык.

Все засмеялись. У Вали уголки губ лишь дрогнули.

— Объявляю: полковой медпункт — землянка под березой, — сказала Валя и вперевалочку вышла.

— Ну и девчонка! — покачал головой Костылев. — А заметили у нее медаль «За отвагу»? Ну и сестренка!

Бойцы переглянулись, и каждый вспоминал свою далекую семью.

Матросов, обрадованный, что узнал сегодня номер полевой почты своей части, предложил писать письма. Люди придвинулись к коптилке с тетрадями, блокнотами. Менялось выражение лица каждого пишущего, а думы уносились далеко, в разные концы страны, к самым близким, любимым.

«Я на пути к заветной цели», — с волнением писал Матросов Лине, названому братишке Тимоне и другим своим друзьям из Уфимской трудовой колонии. Глаза его лучились. Он доволен, что сбылась наконец его давняя мечта и он попал на фронт. Саша рассказывал им о своих первых фронтовых впечатлениях, о встречах с людьми, побывавшими в боях. Здесь он почувствовал еще бóльшую ответственность бойца, защитника страны, но сознание этой ответственности не тяготило, не пугало, а радовало его.

«Помнишь, Линуся, — писал Саша, — *как мы стояли на холме и, держась за руки, смотрели вокруг, и было нам так хорошо, и был кругом такой солнечный простор, что полететь хотелось? А сколько такого счастья у нас еще впереди! Только верь мне: всегда буду поступать так, как велит комсомольская совесть, как велит Родина».*

Антошенко, откинув голову к глинистой стене землянки, завистливо смотрел на счастливое, одухотворенное лицо Матросова и дрожащим голосом тихо пел:

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой кипел, как гроза
Ой, Днипро, Днипро, ты теперь далек,
И вода твоя — как слеза.

Матросов взглянул на Антощенко и понял его горе: ему некому писать, его семья в плену у фашистов. Матросов придвинулся к нему и, будто по ошибке перепутав слова песни, запел то место, где выражена уверенность в близкой победе:

Ворог воду пьет из твоих стремнин, —
Захлебнется он той водой.
Славный час настал, мы идем вперед
И увидимся вновь с тобой.

Глава XX

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ

Тревога была объявлена ночью. Свет зажигать не разрешили. В землянке — непроглядная темень. Бойцы быстро наощупь искали одежду, оружие, вещевые мешки. А снаружи уже слышался голос командира взвода Кораблева:

— Выходи строиться! Становись!

Голос старшины Кедрова, неузнаваемо-строгий, требовательный:

— А ну, живей! Кто там копается?

А Матросов никак не мог разбудить Антощенко. Потом Антощенко спросонья по-детски долго тер кулаками глаза, не совсем еще понимая суровый смысл слова «тревога». Матросов злился на него, говорил, что последний раз нянчится с ним, а сам помогал дружку одеться. И выбежали они из землянки почти последними. Старшина укоризненно заметил:

— Хвосты тянешь, Матросов! Не ждал от тебя.

Упрек нестерпим, но Матросов молча стал в строй.

В темносерой мгле бушевала вьюга, швыряла в лицо колючий снег, качала деревья. Кто-то сказал, что времени — четыре ноль-ноль. Командир роты Артюхов коротко объявил боевую задачу: батальон должен итти на штурм укрепленной полосы противника, потом вести бой в глубине его обороны. Остальные распоряжения — на исходном рубеже.

Походная колонна двинулась с охранением, дозорами, со всеми предосторожностями. И бойцы, поеживаясь от

холода, хорошенько не знали, продолжение ли это занятий по боевой подготовке или они идут в настоящий бой и в землянку больше не вернутся.

Так начался для новичков шестой фронтовой день.

Здесь каждый день был труден. Бригада находилась в резерве фронта, пополняясь людьми и вооружением, но командование старалось использовать каждый час для боевой учебы.

Это была пора долгожданного перелома в ходе войны. На всех фронтах наши войска наступали, и бои достигали всё большего напряжения. Уже была прорвана блокада Ленинграда и заканчивалась великая битва под Сталинградом. В любой час и бригада могла быть брошена в бой.

На занятия подразделения поднимали еще затемно, а иногда по тревоге и ночью. На тактических учениях, увязая по пояс в снегу или ползая на брюхе по незамерзшим болотам, бойцы штурмовали опорные пункты «противника», прорывали его оборону, наступали по открытой и лесисто-болотистой местности. Порой шинель обледенеет и в ней трудно поворачиваться, а надо еще долго бегать по лесу, по колючим кустарникам, прыгать через траншеи или болотные лужи, преодолевать проволочные и минные заграждения. Поздно вечером возвращались в землянки изнуренные, в мокрой или покрытой льдом одежде. Но коммунисты и комсомольцы шли еще на партийные и комсомольские собрания, выполняли партийные поручения и помогали в учебе отстающим.

Явно осрамились на этих занятиях некоторые дружки Матросова. В военно-пехотном училище Костылев и Дарбадаев вышли в отличники по стрельбе. А здесь вначале стреляли плохо. Костылев сам на себя злился: его искусные пальцы молниеносно отрабатывали на клавишах баяна самые замысловатые переборы, а во время стрельбы мерзли и были непослушны, как деревянные.

На исходном рубеже, в непосредственной близости от «противника», за несколько минут до штурма укрепленного пункта простуженный Макеев так отчаянно стал чихать и кашлять, что вызвал справедливые нарекания командиров.

— Потерпи, — просил его Матросов.— Грохаешь, как полковая пушка. Огонь «противника» вызовешь, всё дело погубишь.

Макеев, сдерживаясь, смешно кривил лицо, шапкой закрывал рот, но кашель был неукротим.

После преодоления болота и проволочного заграждения, во время решительных коротких перебежек Антощенко вдруг неуклюже попопз по глубокому снегу, поднимая зад. Взводный Кораблев, возбужденный близостью рукопашного боя, раскрасневшийся, злобно зашипел:

— Кто там ползет, как черепаха?

Матросов оглянулся: так и есть, опять что-то неладное с горемычным его дружком.

— Беги и падай скорей, Петро! Чего, как баржа, плывешь?

— Ты не гырчи! — отозвался Антощенко. — Причина есть.

— Какая?

— Не скажу, — тихо, но сердито ответил Антощенко.

— У Антощенко, наверно, какой-нибудь пустяк, а вот у меня кашель, — с раздражением сказал Макеев. — И вообще не понимаю, — зачем здесь так много всяких занятий и даже политграмота?

— Тяжело на ученье — легче в бою, Макеша. А без политграмоты боец — как без души.

Во время трудных тактических занятий яснее раскрывались характеры людей. Матросов приметил: в минуты крайней усталости его друг Макеев делался еще более ворчливым, придирался к товарищам, но зато Воронов больше отшучивался и усмехался.

Понятнее становились и характеры командиров. Комбат Афанасьев — обычно молчаливый и хмурый человек — сразу преображался даже в этих учебных боях. Он становился задорен, горяч и красив в своей стремительной подвижности.

И сегодня, когда рота Артюхова залегла в ожидании сигнала к штурму укрепленного пункта, комбат сердито спросил:

— Ты что — чай с пирожным распиваешь, Артюхов? Почему не атакуешь?

— Сейчас, товарищ капитан, третий взвод ударит с фланга, а я в лоб ударю, — тихо, с невозмутимым спокойствием ответил Артюхов. Только дрогнувшая щека выдала его напряженное волнение.

Любитель обстоятельных бесед и задушевных песен, старшина Кедров «на службе» был суров и нещадно

требователен, но говорил тихо, сдержанно, веско, отчего слова его были еще убедительнее. А командир второго взвода Дубин всегда кричал на подчиненных; его боялись, но не уважали. Матросову нравились твердость характера и выдержка Артюхова и Кедрова.

Трудно было не только новичкам из пополнения, но и опытным фронтовикам. Закаленный вояка старик Кедров как-то пошутил:

— Думали, в Земцы на отдых пришли, а тут не легче, чем на передовой. Да ничего не поделаешь, надо.

— Надо! — твердил Матросов, когда кто-нибудь из друзей жаловался на трудную учебу. — Вон старые фронтовики — и те учатся воевать, а нам и подавно надо.

Батальон вернулся с тактических учений, когда уже стемнело. Окоченевшие за день дружки Матросова рады, что вернулись опять в землянку, и, усталые, сразу все притихли, укладываясь на нарах. Только Воронов шутил, потирая руки:

— Тепло, не дует и уютнее, чем в хоромах.

— Язык, что овечий хвост, треплется, — ворчал Макеев. — Помолчал бы!

Матросова нет: забежал к заместителю комбата по политчасти капитану Климских за литературой.

Вчера после политзанятия замполит, посоветовавшись с комсоргом Брагиным, предложил Матросову: «Ты много читаешь, вот и разъясняй бойцам, кто чем интересуется, а мы тебе поможем». Так у него появилось еще одно трудное, но интересное дело, за которое он принялся охотно. Кроме того, комсорг Брагин предложил ему выступить завтра на комсомольском собрании, к чему тоже надо подготовиться.

Вот он, откинув обледенелую палатку, заменяющую дверь, быстро вбежал в землянку, и вьюга, сыпнув снегом, ворвалась за ним. Язычок коптилки затрепетал и чуть не погас. Матросов стряхнул с одежды снег, потер у печурки озябшие руки, оглянулся по сторонам и удивился: спать еще рано, а тут унылая тишина. Только ворчал Макеев, натягивая на голову шинель. Он сердился, что кто-то не на место положил вещевой мешок, кто-то зря шляется и холоду напустил.

— Почему тихо? — не вытерпел Матросов. — Братки, что приуныли? Орлы вы или мухи?

— Да и я про то говорю, — приподнялся Воронов.

— Так что же, по-твоему, нам здесь кадриль танцовать? — проворчал Макеев. — И так всё тело онемело.

— Тезка, — тронул его Матросов, — даже отдыхать нельзя с таким кислым настроением, как у тебя. Ты микробом скуки уже всех заразил. Скучать солдату не положено, — а?

Матросов, как и все, устал за эти дни, похудел, резче обозначились в межбровье две складки, потемнел пушок на верхней губе; обветренное лицо побурело, весь он возмужал, повзрослел. Но попрежнему он весел, шутлив. И хоть он и старался быть степенным, порой прорывалась у него мальчишечья резвость. И теперь он весело тряхнул головой, блеснув озорными глазами, повелительно кивнул Костылеву:

— Играй «Калинку», Паша!

Костылев заиграл на баяне, Матросов запел «Калинку-малинку» и пошел по кругу, подрагивая плечами и хлопая в ладоши. Схватился и подтянул Воронов; не вытерпев, запел и Антощенко. Через минуту землянка ожила. Весело стало всем. Нерешительно ухмылялся даже Макеев.

Эта землянка была самая веселая. Сюда вечерами собирались любители попеть, поговорить. Пришли в этот вечер «душа коллектива» Брагин, сандружинница Валя Щепица и старшина Кедров.

Валя, как всегда, пришла «по делу». Стряхнув снег с золотистых кудрявых волос, она у входа строго спросила:

— Инфекции, натертости, заболевания есть?

Все хором ответили «есть» и пригласили девушку к печке погреться. Только Антощенко поерзал на месте, видно, всерьез хотел пожаловаться Вале на что-то, но, оглянувшись по сторонам, смолчал.

— Да у вас тут точно клуб, — снисходительно улыбнулась она, и щеки ее зарумянились.

Бойцы улыбались, раздвигаясь, чтоб освободить ей место. И светлее будто стало в землянке.

Костылев, покраснев, отчаянно тряхнул чубом и с готовностью спросил:

— Какую, Валя, играть? Не стесняйся, буду хоть до утра.

— Про соловейку и вишневый садочек знаете?

Все с огорчением сознались, что не знают.

— Ну, вот эту... — Валя на минуту задумалась, вспоминая далекую свою Кочубеевку на Полтавщине, и тихонько начала песню о вишневом садочке, где соловейко зорями поет.

Все стали сразу разучивать эту песню. Вошел Кедров, прислушался, расправляя заиндевевшие усы. Потом он предложил спеть давние революционные песни и начал хриплым, но душевным баском про колодников и путь сибирский дальний.

Матросову нравилась песня, он подпевал, с сочувствием поглядывая на Кедрова, у которого вздрагивали усы: видно, отца-ссыльного старик вспоминал. Когда песня кончилась, Матросов и Брагин стали просить старшину еще петь.

Но старшина, взволнованный тем, что песня его всем понравилась, молодо встал и, уходя, решительно сказал:

— Спать, спать! Солдатская ночь — птичья.

Ушла и Валя.

Матросов спохватился: ему обязательно сегодня надо прочесть брошюру. Все улеглись спать, а он склонился у коптилки над брошюрой и блокнотом, на открытой странице которого уже записано:

«Я верю в бессмертие честных людей». Горький. «Мать».

Потом быстро записал слышанные днем от Брагина слова Маяковского:

«Быть коммунистом — значит дерзать, думать, хотеть, сметь».

Он раскрыл брошюру, но к нему придвинулся Антощенко и таинственно зашептал:

— Сашко, не серчай, посоветуй мне... Видишь ты, какая закорючка... Я на тактике тебе не сказал, а теперь и сам не знаю, как быть. Кожу на ноге дуже содрал я, когда преодолевали заграждения. А сандружиннице сказать боюсь, — в санбат отправит.

— Покажи.

Антощенко нехотя показал: нога ниже колена распорота колючей проволокой, одежда окровавлена.

— Надо Вале сказать. Пусть перевяжет

— Не хочу. Попаду в санбат, да еще отчислят. Хлопцев потеряю.

Пока Матросов перевязывал ему ногу, он всё просил:

— Ты никому ж не говори про це. Чуешь? Будь другом, не говори. Обещаю: как на цуцыке, засохнет. И на занятиях не отстану.

Успокоенный, он устроился поудобнее на нарах и сразу заснул.

Через пять минут, казалось, спали все. Матросов, радуясь тишине, сосредоточенно стал читать. Теперь лицо его было сурово, и он выглядел старше своих лет. Он не заметил, как, накинув шинель на плечи, подсел к нему Михась Белевич.

— Не спится что-то! — шопотом сказал он. — При людях не хотелось говорить — настроение им портить. А тебе всё-таки скажу. На Полесье семья моя у фашистов — отец, мать и жена с дитем. А може, и нема уже никого живого. Замучили. Вот я и думаю, а что як бы написать так: «Москва, Беларусь, Калинковичи» и дальше по порядку. Дойдет письмо? — и замер, настороржась.

Матросов был смущен: такой рослый, плечистый человек пришел советоваться с ним, безусым пареньком. Саша нахмурился, подумал и уверенно сказал:

— Думаю, через Москву куда хочешь дойдет. Наши партизаны везде. Из Москвы перешлют к партизанам, а те доставят.

— Ой, — облегченно вздохнул Белевич, — як бы так и сбылось! Всё-таки ж ты молодец! Ну, напиши адрес. У тебя почерк ясней.

Скоро уснул и Белевич, похрапывая. Уснул с отрадной надеждой, что Москва во всяком деле поможет.

Матросов опять склонился над брошюрой и блокнотом. Колебался от дыхания оранжевый язычок коптилки. У землянки поскрипывала от ветра старая ель. Сдвинув брови, он торопливо писал: «Гитлер говорит, что немцы должны завоевать весь мир, и хочет в первую очередь истребить славянские народы. Гитлеровцы уже истребили миллионы людей. Советский Союз объединяет семьдесят национальностей и народностей, скрепленных такой любовью и дружбой, какой не было на свете. И трудовые люди всего мира с надеждой глядят на нас. Гитлеровские генералы учат своих солдат: «Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик!..» А днепровский

колхозник дед Макар говорил мне: «Жить надо так, чтоб людям легче было оттого, что ты живешь. Совесть — глаз народа. Служи народу по совести». Какая красивая душа у нашего человека! Какая черная, звериная душа у фашистского мракобеса!»

В ночной тиши шумел ветер над землянкой. Стонала седая обомшелая ель. Но здесь, рядом, спали его боевые товарищи. Да, хорошо, что он теперь в кругу отважных, испытанных людей, но ему еще во многом надо подтянуться, чтоб быть достойным их. По стрельбе всё еще обгоняли его Белевич и Антощенко, а Воронов гораздо лучше его отвечал на политзанятиях.

Но у Саши много друзей, и каждый охотно во всем готов помочь ему.

Глава XXI

КОМСОМОЛЬЦЫ

На комсомольском собрании он не воспользовался ночными своими записями. Его увлекли волнующие выступления других комсомольцев. После доклада комсорга Брагина о дисциплине сразу же заговорили о содержании оружия, о выполнении приказов и поведении в бою. Комсомольцы приводили примеры, взятые из быта их подразделений, называя лучших и худших бойцов. И Матросов решил, что тут все уже продумали, прочувствовали и знают то, что он с такой ясностью впервые понял и записал ночью, что ему полезнее послушать других.

— Я предлагаю привлечь к ответственности комсомольца Суслова за недостойное поведение в бою, — сказал вдруг боец Щеглов, коренастый, крепкий, покрасневший от возмущения.

Собрание насторожилось. Щеглов стоял в левом заднем углу большой землянки, именуемой клубом, и все обернулись к нему. Капитан Бугрвчев только что хвалил бойцов — Щеглова, подбившего два немецких танка в бою под городом Белым, и Суслова, раненного на том же рубеже. Похвалил именно за то, что они оба хорошо выполнили свой долг, отбив контратаку целой роты фашистов, и этим дали возможность ему, Бугрвчеву, заменявшему тогда комбата, решительно ударить по врагам с фланга и опрокинуть их.

Суслов только сегодня утром вернулся из госпиталя. В штабе батальона он весело заявил: «Ну, теперь я

дома!» Рассказал, с каким трудом ему удалось выпроситься в свою часть. И здесь, до начала собрания, сияющий Суслов всем знакомым и незнакомым крепко пожимал руки, довольный, что снова вернулся в свою боевую семью. Теперь он, потрясенный обвинением Щеглова, растерянно смотрел по сторонам, еще не совсем понимая, в чем его обвиняют, но уже страшась слов: «недостойное поведение в бою».

— В самую горячую минуту, — продолжал Щеглов, — когда к нам подходил фашистский танк, Суслов метнулся по ходу сообщения назад и был ранен. Почему комсомолец Суслов показал врагу спину?

Бойцам нравился Суслов, тоненький, как былинка, веселый паренек, и никому не хотелось видеть в нем преступника, труса.

— А ты почему до сих пор молчал? — спросили Щеглова.

— Я привык говорить правду в глаза, — обиделся Щеглов. — Чего ж я зря говорил бы, если он был где-то в госпитале, да, может, и не живой уже.

Дело серьезное; люди повернули гневные лица к Суслову.

— Чего притаился? Говори, Суслов!

Суслов поднял руку:

— Товарищ председатель, разрешите. . . Товарищи, да мне страшней боя и смерти слышать такие слова. — Голос его дрожал. — Патронов у меня не стало, и последнюю гранату бросил. Я и метнулся за гранатами, вспомнил, что они на дне окопа в уголке сложены. Но тут меня ударило в плечо, и я упал.

Его прервали:

— Сзаду и ударило? Значит, спиной к танку был?

— А почему у меня гранату не взял? — спросил Щеглов.

— Ну, может, с испугу не сообразил, — искренне сказал Суслов.

— Известно, не обстрелян был! — снисходительно крикнул кто-то.

— С испугу! А мне, думаешь, не страшно было? — уже мягче сказал Щеглов. — Главное, один танк подбил, другой соседи подбили, а третий прет прямо на меня, а я попасть в него не могу. А тут Перепелкину осколком голову снесло, Сысоев упал, и ты метнулся. Жарко мне

было так, что пятки горели, да пересилил себя, ловчей прицелился и подбил.

— А как это патронов не стало? — опять спросили Суслова из задних рядов.

— И почему раненый ушел, раз так трудно было на рубеже? Может, не тяжело был ранен и еще помог бы?

— Честное комсомольское, товарищи, — сказал Суслов, и полные слез глаза его заблестели. — Я вообще не думал тогда уходить, а кинулся за гранатами и раненый не ушел, а потерял сознание и меня санитары вынесли.

— А чем докажешь?

Председатель поднял руку:

— Спокойнее, товарищи, больше порядка!

Матросов, Костылев и Антощенко сидели в задних рядах и напряженно слушали. В словах фронтовиков было много поучительного. Бойцы и командиры рассуждали здесь о смерти в бою, как о чем-то совершенно простом и естественном.

И о страхе говорили так, что его можно вполне преодолеть. Боятся и теряются в бою чаще всего необстрелянные новички, над которыми потом подшучивают товарищи. В бою страшно, конечно, всем, но настоящий боец подавляет, преодолевает страх, потому что страх помрачает разум, сковывает волю, силу, ведет к гибели. А самое главное во время сражения — умело, точно, с честью выполнить боевой приказ. Поэтому всех так взволновало дело Суслова.

— Ответственно быть комсомольцем, — тихо сказал Матросов. — Скорей бы в бой, что ли! Проверить себя.

Костылев и Антощенко, переглянувшись, усмехнулись. Известно: Матросову всегда хочется поскорее всё узнать, всё изведать.

— Успеешь, Саша, повоевать. За тем и приехали сюда.

Бургачев предложил отложить дело Суслова для доследования.

— Зачем откладывать? — взмолился Суслов. — Как я товарищам в глаза смотреть буду с таким обвинением? Я прошу сейчас же вызвать Козлова, санитара.

Собрание решило вызвать Козлова.

Огромный рыжебородый Козлов уже спал в теплой землянке и, когда его будили, долго не мог понять, за-

чем его вызывают. На собрание он спросонья пришел злой и, узнав, кто обвиняет Суслова, накинулся на Щеглова:

— Да ты что — очумел? — говорил он и теребил свою огненную бороду. — Зачем на парня напраслину возводишь? Ты, значит, и не видел, как я раненого Суслова под кромешным огнем утащил?

— Не до бороды твоей там было, — смущенно отозвался Щеглов.

— То-то и оно-то, не видел, а зря говоришь!

— А я видел, как он метнулся назад.

— Метнулся! Он бы кровью изошел, кабы не я.

В землянку вошел замполит Климских. С улыбкой он подошел к столу президиума, что-то тихо сказал Буграчеву и Брагину. Те сразу тоже стали улыбаться.

Люди выжидающе смотрели на президиум, чувствуя, что замполит говорит там о чем-то очень важном и хорошем. И Козлова уже не слушали. Главное он уже сказал: Суслов не виновен.

Потом Климских шагнул вперед и, волнуясь, сказал:

— Товарищи, разрешите сообщить вам великую радость. По радио передали приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина об окончательном разгроме окруженных под Сталинградом вражеских войск. — От волнения и недавней контузии один глаз у него часто замигал.

Все, как по команде, разом встали, и от громких рукоплесканий и возгласов, казалось, раздвинется над головами промерзшая насыпь землянки.

Замполит перечислил, сколько тысяч солдат и офицеров из огромной отборной гитлеровской армии под Сталинградом убито, взято в плен, какие захвачены трофеи, и закончил:

— Трудно было нам в сорок первом, когда вооруженный до зубов и уже опрокинувший с десяток государств враг внезапно кинулся на нас и дошел до Москвы, до Ленинграда, потом до Сталинграда. Но фашистский зверь сломал себе зубы. Устояли мы. Устояли и теперь бьем и добьем врага, обязательно добьем, потому что нас вела и ведет партия большевиков — ум, честь и совесть народа.

— Ум, честь и совесть народа, — повторил Матросов, постигая удивительный смысл этих слов.

И вот он уже опять насторожился. Заговорил его любимец Буграчев:

— Да, устояли, а теперь громим самого сильного, самого коварного и жестокого врага, какого еще не знал наш народ. — Буграчев говорил тихо, но слова его тяжелы, как металл, и в суровом взгляде — ледяной блеск. — Почернела от руин и пепла наша земля, где прошел враг. Но не опустил руки советский народ. Он выковал новое оружие, и вот мы ударили под Сталинградом. Фашистам теперь уже не очухаться. А мы только еще плечи свои разворачиваем, и сила наша народная неисчерпаема. Много впереди трудных боев, но наша, только наша армия спасет мир от фашистского рабства.

Матросов слушал и всю ночь готов был слушать страстную речь Буграчева. А после собрания сразу же подошел к нему:

— Товарищ капитан, когда же мы? Везде наши наступают, а мы зря кашу едим.

— Когда прикажут. Надо так подготовиться, чтобы бить наверняка.

После радостного сообщения о победе под Сталинградом занятия стали еще более напряженными.

Вскоре был проведен строевой смотр. Неплох был результат короткой, но трудной учебы. Пополнение неразличимо слилось с колоннами фронтовиков. И когда стройные шеренги бойцов шагали перед командованием бригады, Матросов уловил довольную улыбку седого генерала. Потом он говорил друзьям:

— Хорошо, когда начальник улыбается. Увидел я, как генерал улыбнулся, и чувствую, сами ноги еще крепче шаг припечатывают. Командир доволен, и тебе хочется еще лучше сделать. Ну, братки, теперь скоро.

— Та вже ж скоро, — усмехнулся Антощенко.

— Скорей бы! — потер руки Дарбадаев.

Через день бойцам выдали на руки патроны, гранаты, продовольственный «неприкосновенный запас», и бригада выступила в поход.

Глава XXII

НА МАРШЕ

Бригада шла ускоренным маршем выполнять важное задание командования. Уже гремели наши наступательные бои на всех фронтах от Баренцова до Черного моря. Разбитые под Ленинградом, Сталинградом, на Дону и на Кавказе, гитлеровцы отчаянно цеплялись за новые рубежи, пытаясь удержаться. Но всё шире развертывалось массовое изгнание их из пределов советской страны. Развертывались решительные бои и на Калининском фронте.

После короткой передышки бригада теперь должна была быстро проделать двухсоткилометровый марш, имея общее направление на город Торопец и потом населенные пункты — Стрельцы, Демидово, Клюково, Шилово и Михаи, на реке Ловать, севернее Великих Лук, где предполагался пункт сосредоточения бригады. Потом бригаде предстояло быстро развернуть наступление в районе города Локня, выйти на линию железной дороги Локня — Насва и перехватить эту важную магистраль.

Бойцы шли с полной боевой выкладкой, обвешанные автоматными дисками, гранатами, тяжелыми подсумками, вещевыми мешками, набитыми продовольствием и прочим походным солдатским имуществом. Шли днями и ночами уже третьи сутки и не знали, далеко ли еще итти. Чем дальше, тем хуже становились дороги: в сугробах всё чаще застревали машины, и росла ноша на плечах бойцов. Всё больше вводилось предосторожностей.

Ночью по цепи передавали предупреждение: «Не курить!», «Громко не говорить!»

Была только одна дневка, редки были даже привалы. Стремительность марша решала успех ответственной боевой операции. Да и отрываться от снега после привала и продолжать путь переутомленным людям словно еще труднее.

Матросов шагал с ротой автоматчиков впереди колонны. Автоматчики первыми протаптывали дорогу, часто увязая по колено в снегу.

На рассвете, когда переходили реку Торопу и сворачивали с Великолукской дороги на север, Матросов, глядя на Полярную звезду, почувствовал во всем ноющем теле такую усталость и так неодолимо захотел спать, что боялся уснуть на ходу и упасть. И когда он сказал об этом Петру Антощенко, тот, видно тоже до предела уставший, не ответил, а только мотнул головой и механически продолжал шагать дальше, прихрамывая и клюя носом.

Но утро разгоралось такое морозное, румяное, звонкое, что Матросов вскоре забыл про усталость.

Справа, за рекой Торопой, сначала вспыхнула багряная заря, и сквозь запушенные снегом деревья заблестело, как начищенная медь, вытянувшееся по горизонту облако. Потом малиново-золотистое пламя восходящего солнца брызнуло и залило весь заснеженный лес, и синие тени внизу на снегу стали голубыми.

Матросов повеселел. Он умел настраивать себя на хороший лад даже в минуты грусти, но теперь хорошее настроение пришло само собой. У каждого человека всегда должна быть хоть малая радость, нужно только уметь найти ее. Матросов богат радостями. Хорошо, что нескончаемо тянулись вокруг леса, и тут он узнавал много неведомого о звере, птице, о растениях. Хорошо, что сбылась его мечта, и он идет на фронт, защищать Родину. Его волновали и облепленные чистейшим снегом, пронизанные солнцем темнозеленые сосны, ели и повисшие длинные ветви берез, запушенные инеем, вспыхивающие на солнце голубоватыми искрами, и всё снежное торжественное убранство леса, и сияющая вокруг, слепящая чистота.

Старшина Кедров обогнал его и весело подмигнул:

— Ишь, лес какой!

— Ой, до чего ж хорошо, товарищ старшина!

— Хорошо? — замедлил шаг Кедров. — Я вот, знаешь, приглядывался к людям, и сдается мне: кто красоту примечает и любит, и душа у того красивей. Ну, а студеный цвет знаешь?

— Нет. Какой это?

— Да вот лес белый, будто сад в цвету. Это и есть студеный цвет.

— Вот иногда говорят еще: «плакучая береза», — заговорил Матросов. — А она совсем не плакучая, а веселая. Глядите, товарищ старшина, — как девушка с распущенными косами! А весной, когда в сережках, просто не наглядишься. Как там у Некрасова: «белая березонька с зеленою косой». Хорошо!

Кедров понимающе усмехнулся и быстро зашагал по обочине в голову колонны. Матросов собрался было спросить его, почему он так торопится, скоро ли привал или дневка, и постеснялся: без него много разных хлопот у старшины.

Матросову хотелось продолжить разговор, хотелось, чтобы все почувствовали красоту этого лесного утра и чтобы у всех на душе было так же хорошо, как у него.

— Петро, гляди, как здорово кругом!

— Та вже ж.

— Смотри, вон-вон снежок розоватый от солнца играет на ветках.

Хмурый Антощенко молча кивнул головой. Ему не до красот. Рана на ноге растерта, кажется, до кости. Итти мучительно-больно. Но даже другу не хотел он пожаловаться.

— Думаю, рушник, що Леся вышивала, выкинуть, — сказал он. — Хочешь, возьми.

А Костылев предложил Матросову флакон одеколона, что купил еще в Краснохолмске:

— Не возьмешь, — выброшу. Иголка будто пуд весит.

— Да что это вы, хлопцы? — удивился Матросов.

— А что? — обиделся Костылев. — Казенное нельзя, а свое личное можно и бросить.

Матросов понял: совсем, значит, устали дружки, раз Антощенко решается лишиться такой дорогой памяти, как Лесино полотенце, а франт Костылев — одеколона. А вчера утром возник спор из-за баяна. Одному Костылеву нести его было трудно. Матросов предложил нести его

по очереди. Макеев советовал бросить баян: «Сухари даже нести трудно», — говорил он.

Матросов воспротивился: «А я скорее сухари оставлю, чем баян». Всё-таки решили нести баян по очереди. Его чаще других несли Дарбадаев, Матросов и Воронов. И теперь Матросов взял у Антощенко вещевой мешок и вскинул за спину, а у Костылева взял одеколон.

— Ладно, свой магазин «тэжэ» открою.

— Еще и шутишь, — грустно усмехнулся Костылев, завистливо косясь на Матросова. — И где только силы берешь?

— В земле, тезка, в земле сила.

Они замолчали. У Матросова всё еще не сходила с лица изумленная улыбка, и на душе было так же чисто, как сейчас в этом снежном лесу. Он шагал молча, внимательно оглядываясь по сторонам. В это ясное предбоевое утро он думал о прожитом. Было в его жизни много хорошего и много такого ненужного, о чем не хотелось и вспоминать. И самому дивно: ничто не помешало ему так самозабвенно любить этот сказочно-разнообразный мир.

Следы войны встречались всё чаще и чаще. Иссеченные осколками деревья, заброшенные и засыпанные снегом блиндажи, окопы, шалаши из веток, разрушенные и сожженные лесные деревушки. Вон висит полусрезанная осколком снаряда крона березы, склонив до земли заснеженные кудри.

Уже с полчаса колонна шла густым лесом. Над узкой заваленной снегом дорогой местами сплетались ветви высоких деревьев и закрывали небо.

Вдруг люди оживились. От головы колонны и назад по всей длинной цепи бойцов полетел приказ:

— Командиров рот — в голову колонны!

Командиры рот, увязая в нетоптанном снегу, по обочине торопливо обгоняли колонну. Бойцы, идущие по четыре в ряду по протоптанной уже дороге, сочувственно смотрели на командиров и связных, которых часто вызывали в голову колонны.

Через несколько минут командиры рот снова появились на обочине. Они пропускали мимо идущих бойцов: каждый ждал свою роту.

Вскоре был объявлен привал. Колонна, растянувшись вдоль дороги по опушке леса, расположилась на отдых.

Люди шутили над своей усталостью и тут же валились в мягкий снег.

— Вот это перина, Антошка! — усмехнулся Матросов, вытягиваясь на снегу. — Даже твоя жена такую не постелет!

Антощенко, скрывая боль ноги, хотел казаться веселым.

— Та вже ж. И тебе, Сашко, так мягко дома спать не приходилось!

— Ноги тяжелые, как чугунные, — сказал Костылев.

Беспокойный Матросов, не унимаясь, озорно подмигнул:

— Мишка, тезка, друзья-солдаты, идите до гурта, закурим. Хата моя — табак ваш.

— Хитрый, свой табачок бережешь! — отозвался Дарбадаев.

К Матросову подошли: Дарбадаев, Воронов, Белевич, Макеев. С этим веселым и общительным пареньком легче дышалось, лучше можно было отдохнуть. Он хорошо знал, как вести себя на марше, когда и сколько пить воды, как следует обертывать портянками ноги, как на привале надо ложиться, чтобы отдохнуть.

— Прошу до хаты, — пригласил Матросов гостей, кивнув на свой вещевой мешок, висящий на сучке ели,

а сам, подтянув рукава шинели и ватника, быстро начал умываться снегом. — Уж извините, с туалетом опоздал немного. — Вытащил из вещевого мешка аккуратно сложенное полотенце, вытерся и, надев варежки, стал хлопать ими, согреваясь. Потом он подошел к Костылеву, лежащему на снегу. Посоветовал повыше положить отекшие ноги, незаметно сунул ему флакон с одеколоном. Костылев удивился:

— Я ж насовсем тебе отдал. Всё равно выбросил бы.

— Я и без одеколона красив, — пошутил Матросов.

— Да, может, опять его бросать придется.

— А ты лучше Вале подари.

— И верно, — повеселел Костылев. — Только бы пришла. Ох, и друг же ты, Сашка! .. Ну, дай водички попить: в горле пересохло, а моя вода во фляге замерзла.

— А воды не дам сейчас.

— Да жаль тебе, что ли?

— Не жаль, а не дам. Чайку — можно, а холодную сейчас вредно: разгоряченный и лежишь на снегу. На марше можно пить холодную только перед подъемом.

— Ишь, старик, всё знает, — засмеялся Дарбадаев, разминая ноги и встряхивая открытой потной головой, от которой валил пар.

— Да всем же объясняли, — оправдывался Матросов. — А ты, Михаил, не храбрись, хоть и сильный. Надень шапку.

— Да мне жарко, чудак. Голову в снег сунул бы.

— Вот потому и надень.

Дарбадаев надел шапку.

— А за это вот тебе хороший табачок, — сказал улыбаясь Матросов.

Закурив, друзья расположились на снегу, вытягивая затекшие ноги.

На стоянке сразу же началась бойкая бивуачная жизнь. Люди еще издали увидели вьющийся вверх синий дымок походной кухни и оживились.

— Думали, она, матка, в сугробе завязла, а она следует. Любит солдата.

Завтракали вместе, усевшись вкруг.

— Ну и кулеш добрый! — щурился от удовольствия Антощенко, хлебая из котелка густой жирный суп из пшенного концентрата и мясных консервов. — Сроду не ел такого.

— И хлеб, как пирожное, так и тает во рту, — сказал Матросов, грызя мерзлый хлеб, потом опустил его в дымящийся пахучий суп.

— Ну и пир, братки! Честное слово, обеда вкусней этого я не едал.

— Пройдешь двести километров, так и обгорелое полено копченой колбасой покажется, — хмуро проворчал Макеев и с беспокойством оглянулся. — А кто, ребята, угадает, далеко ли еще шагать?

— Далеко ли? — усмехнулся Дарбадаев. — У нас в Башкирии так говорят: «Хороший конь — до деревни семь километров, а плохой — семьдесят семь». Понял, Макеша?

— Молчи, заноза! — сердито проговорил Макеев. — Не до смеху тут.

— Ну заплачь, — посоветовал Воронов.

— Сосочку ему с молочком, — предложил Костылев.

— Идите вы все к шуту! — вспылил Макеев.

Матросов пытливо стал вглядываться в лица друзей. Ему раньше говорили, потом он и сам приметил: в трудностях слабодушные люди быстро меняются, любят пожаловаться, хнычут, ворчат, а люди, сильные духом, всегда владеют собой, сдерживают свою нервозность, как бы трудно им ни было. Нытик может испортить настроение и у товарищей, а человек стойкий улучшит его. Но стойким и слабый может стать, если поймет свой недостаток и твердо решит его исправить. Макеева недолюбливали за его сварливость. Он это чувствовал и, мнительный, обижался из-за каждого пустяка.

Матросов добродушно подмигнул ему:

— Слушай, Макеша! Геройский ты с виду парень, а всё ежишься, прибедняешься. Постой, я тебя, ледяного, чайком согрею. Братки, уж пировать так пировать! Набивай котелки снегом.

Он быстро нашел в кустах сушняк, вытоптал в снегу местечко и разложил костер.

Сидя на корточках, Матросов шевелил горящие веточки и щурился от едкого дыма. Потом протянул Макееву кисет с табаком:

— Закуривай, Макеша. Не дуйся, как сыч.

— У всякого бывает плохое настроение, — смущенно кряхтел Макеев, скручивая цыгарку. — И ноги вон одеревенели, и писем всё нет; может, и не будет.

— Настроение, говоришь? Слушайся только настроения, — оно тебя в болото заведет. Я сам настроение настраиваю, как хочу.

— Это верно, — сказал Воронов. — Регулировать настроение можно.

Они пили чай и спорили. Одни доказывали, что человек может не только настроение, но и характер свой вырабатывать, другие возражали.

Послышался строгий окрик старшины:

— Эй, Суслов, чего шапку снял? И на снегу потный не лежи. Перегрелся — походи тихонько, потом и отдыхай.

У Кедрова лицо озабоченное, осунувшееся. Матросов пригласил его:

— Товарищ старшина, чайку попейте с нами. Уже закипает. И табачок есть хороший. Споем вам что-нибудь.

— Спасибо, некогда, — ответил тот, проходя мимо, и значительно добавил: — Пока запрету нет, курите, пойте. А скоро и нельзя будет.

Матросов поспешил воспользоваться пока еще доступным счастьем. Откинувшись спиной к стволу сосны, тихо запел:

Ах ты, степь широкая...

Песню сразу же подхватили Антощенко, Воронов, Дарбадаев. И высоко взвился страстный тенорок Матросова:

Степь раздольная,
Широко ты, матушка,
Протянулася.

Не вытерпел и Костылев: поднялся, взял баян и стал наигрывать.

Подошли комсорг Брагин и комвзвода Кораблев. Стараясь не отвлекать поющих, они тихо подсели к костру и тоже запели.

Матросов самозабвенно пел о степи, глядя куда-то на верхушки сосен, будто за ними и открывалась эта степь, раздольная, как его чувство свободы и молодости. Пел и думал о Лине. Так всегда: волнующая музыка, песня, всё прекрасное напоминало о ней.

Широкая, как степь, как вешняя Волга, лилась песня.

Сандружинница Валя Щепица, чтоб не помешать певцам, поодаль прильнула к корявой ели и заслушалась.

В голове колонны, слушая песню, привстали командиры: Афанасьев, Климских, Артюхов и Кедров, дивясь неуемной солдатской силе.

— Мои автоматчики поют, — гордо усмехнулся Артюхов. — Матросов запевает. Мои орлы.

— Ишь, соловей залился! — подкручивая седые усы, подмигнул Кедров, когда тенорок Матросова зазвенел на высокой ноте.

Прислушиваясь, поднимали головы бойцы во всей колонне.

А песня летела всё шире.

И когда замерли последние звуки песни, автоматчики, еще переживая ее очарование, переглянулись. Воронов заметил необычный блеск в глазах Матросова.

— Сашок, что с тобой?

— Да ну тебя, тезка! — смутился тот и, рукавом шинели коснувшись глаз, просиял. — Ой, хорошо! Ну до чего ж хорошо! Поешь и будто видишь Родину — поля, леса, реки! Березку у плетня, и моря́, и горы. Песня — сила. Жизнь и душу украшает. Ох, и люблю песни!

Антощенко вздохнул:

— И Леся моя так хорошо спивает, — аж сердце млие.

Вдруг друзья умолкли, насторожились: послышался плач ребенка. Это было совсем неожиданно в лесных дебрях.

Глава XXIII

БЕЖЕНЦЫ

Матросов быстро встал и пошел в лес, откуда слышался детский плач. За густым ольшаником поодаль на поляне он увидел женщину с детьми. Закутанная в тряпье, она сидела на груде битого кирпича у черной от копоти трубы, оставшейся от сгоревшей избы. Трудно было определить возраст женщины. Скулы, обтянутые сине-желтой кожей, торчали у нее, как у скелета. Прижимая грудного ребенка, она совала ему в рот искусанную тощую, как тряпица, грудь. Такая же изможденная девочка лет четырех жалась к колену матери.

— Здравствуйте, мамаша! — сказал Матросов.

Женщина подняла на него суровые синие глаза и хрипло ответила:

— Здравствуй, сынок... Хлебца дай...

Ей, видно, трудно говорить. Пообещав быстро вернуться, Матросов побежал за вещевым мешком. Он скоро снова пришел на поляну, вынул из мешка завернутый в газетку кусок хлеба и протянул женщине. Она приняла его дрожащей рукой. Девочка сразу же схватилась за руку, жадно глядя на хлеб.

— Вот еще сахар, — подал Матросов сверток. В мешке рука его нащупала банку консервов. Он быстро вытащил банку, вскрыл большим ножом и протянул женщине. И теперь, жуя и глотая, она начала говорить медленно и деловито:

— С дитем бедую. Молоко в груди присохло. Да те-

перь мы дома, — кивнула она на пепелище. — Это наша вот деревня Замошье. Слыхал? А мы из-под немца, видишь, сегодня пришли сюда.

Матросов разглядел засыпанное снежком пожарище на месте прежней деревни. Торчали из развалин черные трубы, обгорелые деревья, валялись обломки домашней утвари.

Подошел Дарбадаев:

— Ты что тут, Саша?

— Да вот, видишь, мамаша домой вернулась и бедует.

Не вытерпел и, хромая, приковылял Антощенко.

— Теперь бы мужа дождаться, — оживилась женщина. — Только не отпустят, — замучают проклятые. Они спалили деревню и погнали нас в Германию, когда уже наши подходили. У меня, видите, эти маленькие. Как итти? Ихний обер-унтер долговязый сердито бубнит и прикладом автомата по спине меня бьет. Потом наши пушки начали стрелять. Немец, видно с испугу, погнал нас еще скорее. Я упала; он столкнул меня сапогом в канаву, стрельнул, да мимо. Троша, муж мой, схватил фашиста за руку, а тот ударил его автоматом по голове, погрозился застрелить и погнал, погнал... Может, вы, родненькие наши, догоните их и освободите наших, а? — говорила она, точно это было так же просто, как срубить дерево.

Женщина совала размятый хлеб в ищущий рот ребенка и, видно, радовалась, что теперь дома, среди своих. Потом тяжело вздохнула и указала на молодой сосновый борок, раскинувшийся по холму в конце поляны:

— В песке там зарыто девятнадцать душ из нашей деревни. Отказались итти в Германию. Старшим эсэсовцы проволокой руки скрутили и погнали, а детишки сами побежали за родителями, — так их всех и расстреляли. Да перед смертью иных долго мучили, выпытывали, где партизаны.

И она говорила о замученных, повешенных, заживо закопанных или на кострах сожженных соседях и людях окрестных деревень, называя погибших по именам.

— Смерть люди принимали, а не сдавались. Мы вас так ждали, так ждали!.. Прошлой зимой ходила тут по деревням девушка-провозвестница...

— Какая провозвестница? — насторожился Матросов.

— Так люди прозвали комсомолку Лизу Чайкину.

— И у вас она была? — взволновался Матросов. — Вы ее видели?

— Да как же! Мы и от немцев ее прятали.

— Что же вам говорила Чайкина?

— Да она всю правду объявляла народу. Сталинское слово приносила. «Не покоряйтесь, — говорит, — врагу. Бейте, как можете. Скоро наши придут, скоро победа. Так сказал товарищ Сталин, а его слово — нерушимое». И люди шли в партизаны. Только с малыми детишками оставались. Фашисты лютовали и дотла сжигали целые деревни. Люди терпели, верили, ждали. А когда эсэсовцы мучили Лизу, чтоб сказала про партизан и про Красную

Армию, она им только и ответила: «На свете нет таких мук, каких не стерпит советский человек, а совесть свою не продаст». А потом уже голубка молчала, ничего враги не узнали... Только когда на расстрел привели и, чтоб запугать ее, стали так стрелять, что пули над самой головой в стенку били, Лизонька крикнула, голубка: «Да здравствует Сталин!» Тут фашисты совсем озверели и ударили ей прямо в сердце.

Матросов, закусив губу, молчал. Потом тихо спросил:

— Еще что про нее знаете?

— А еще люди про нее такое сказывали, — продолжала, вздохнув, женщина. — Когда девочка вступала в комсомол, сказала матери: «Для народа жить хочу». И такой будто привиделся матери сон: стали советоваться меж собой небо, земля, солнце и самый умный на свете человек — Ленин, как наградить девочку за ее любовь к людям. Небо и говорит: «Я ей дам синие-синие и глубокие глаза, такие же, как я». А земля говорит: «Урожаем жив человек. Я дарю ей волосы золотые, как венок из спелых колосьев». А солнце говорит: «Я согрею сердце ее так, что оно никогда не остынет». Тогда сказал Ленин: «А я такой правдой закалю ей сердце, что никогда и никто на свете не испугает ее». Она, видишь, такая и была: и глаза синие, и волосы золотые, и сердце горячее, и бесстрашная...

На поляну из-за кустов вышла еще группа беженцев. Исхудалые и оборванные, они шли, еле передвигая ноги, опираясь на палки и держась друг за друга. От группы отделилась немолодая женщина, раскинула руки, упала лицом на землю, обнимая пепелище, заголосила.

— Ишь, убивается Макаровна, — сказала женщина.— Сына, видишь, партизана фашисты замучили. Глаза выкололи, звезду на груди вырезали... А мужа ее повесили, одна осталась. А жили они хорошо до войны. На агронома сына выучили.

— Ото ж и по всей Украине такое, — сказал Антощенко. — Порубал ворог наши сады, спалил хаты.

Петро тоже вытащил из вещевого мешка хлеб и отдал женщине. Она улыбнулась.

— А як же вы, мамаша, тут жить будете?

— Дойти б до района. Власть не оставит, поможет.

Дарбадаев, развязывая мешок, пошел к другой группе беженцев.

Матросов, сдвинув брови, пристально смотрел на женщину, на багровый кровоподтек под ее правым глазом. Он думал о Лизе Чайкиной, о тысячах и тысячах советских людей, замученных в городах и селах. Много ему приходилось читать и слышать о фашистах; теперь он сам видел их черные дела.

Послышалась команда:

— Вста-ать! Подъем!

Матросов, Антощенко и Дарбадаев поспешили к колонне. Теперь батальон, сокращая путь, двинулся по узкой просеке. Бойцы шли гуськом, держась протоптанной тропы, чтоб не увязнуть в глубоком снегу.

Матросов был задумчив, неразговорчив. «Как же эти люди до лета проживут?»

Молчал он долго, потом значительно сказал дружкам:

— По той земле идем, по какой Лиза Чайкина ходила. — И, помолчав задумчиво, будто про себя добавил: — Много, много у нас таких, как горьковский Данко... Антошка, слышь? Вот вспомнилось: когда-то я записал в свой блокнот такие слова, чьи — не помню: «У большевика нет более высокой и благородной цели, как служение народу и борьба за его счастье. И только вместе с народом можно быть по-настоящему счастливым»... Ох, какая это правда! Согласен?

— Та вже ж правда. И дидуся тоже говорил: кто хочет жить против народа, чи за счет народа, — тот должен погибнуть. Только чего ты, Сашко, всё мудруешь?

Матросов вздохнул, и, не ответив, сам спросил:

— Антошка, чорт, — что у тебя с ногой? Ишь, ковыляешь.

— Та молчи. Не спрашивай. Пустяки. — И шопотом сказал: — Так больно, точно на нож ступаю. Только никому не говори, а то, сам знаешь, какие хлопцы языкастые. Ничего, дотяну до места.

На следующем привале Матросов сел в сторонке, прислонясь к сосне и съежившись, как воробей. Друзья сразу заметили: приуныл неугомонный весельчак, шутник и песенник. Это было совсем не похоже на Матросова.

— Притомился, видно, соловей, — вздохнул Воронов.

А Дарбадаев накинулся на Костылева:

— Прямо скажу, — это не чутко. Перед девушками

гоголем ходишь, а тут навьючиваете с Антощенко всё на Сашку, как на верблюда. Совсем надорвали паренька.

Воронов и Дарбадаев подошли к нему.

— Устал, тезка? — сочувственно спросил Воронов.

— Да нет, не то, — поморщился Матросов. — И устал, конечно... Но думаю вот...

Он думал о тысячах бездомных людей, таких же, как те беженцы, что встретили бойцы на привале.

— А сколько таких еще ждет нас, чтоб скорее освободили!

Задумались и друзья. Потом Дарбадаев поторопил:

— Чай остынет, идем, Сашок. Чего-то не клеится у нас без тебя.

Глава XXIV

КТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

Опять разбушевалась вьюга, крутя перед глазами облака снега. Завалило снегом все пути и тропы — ни проехать, ни пройти. Порой даже угадать трудно, где тут в лесных дебрях пролегает дорога.

Уже от Торопца началось бездорожье, и грузовой транспорт бригады всё больше отставал. Только выносливые маленькие сибирские лошадки, надрываясь, тащили груженые повозки и розвальни. Лошадей было до полсотни в каждом батальоне. Потом стали сдавать и они. Когда повозки и сани увязали в снегу, лохматые изнуренные лошадки, с намерзшими под брюхом сосульками, становились на дыбы, мотали кудлатыми, заиндевелыми мордами и, метаясь, как бешеные, рвали постромки. Иные падали и уже больше не вставали. Всё, что можно было, вернее, — что нужно, несли теперь люди.

В небе стоял почти непрерывный гул наших эскадрилий, летящих на запад. Наступление ширилось. Выполнить боевой приказ спешили и пехотинцы Сталинской бригады, преодолевая заваленные снегом болота и лесные чащобы. Длинной цепочкой шли бойцы, жмурясь от летящего в глаза снега и ногой нащупывая протоптанный след. Хрустел снег под ногами. Глухо брякали котелки, лопаты. Путь солдатский долгий, и думы, как тропка в снегах, текут. А главная дума у всех одна: как ни трудно, а приказ надо выполнить точно и в срок. Никто не должен отстать в пути.

Вечером был объявлен привал в разрушенной деревушке. Усталые люди, как пьяные, валились на снег. Но мороз крепчал, леденил будто самое нутро: долго не улежишь на снегу. Согреться бы где, горячего кипятку хлебнуть. Но уцелела только одна изба, да и в ней окна выбиты, печь развалена.

— Печенки будто примерзли, и всё болит, а есть хочется, — говорил с удивлением Антощенко, лежа на снегу около избы и грызя мерзлый хлеб. — Тай дурень же я, хлопцы! У нас в колхозе дыни были такие большие, як поросята. Разрежешь ее — и мякоть розовая, сладкая, во рту тает, як пирожное. А кавуны были какие! Пудовые, ей-богу. И чуть дотронешься ножом до него, он и лопнет, а в середке, як жар горит, красная сахарная мякоть. Целые бочки с медом стояли, корзины с виноградом. А я ж, дурень, того не любил, а любил тарань с цыбулей [1] и кислый квас.

— Да замолчи! — плаксиво ворчал Макеев. — И так в животе мутит, — слышь, хохол?

— Не, я без очков не слышу, — невозмутимо отвечал Антощенко

— Верно, Петро! — рассмеялся Матросов. — Говори, говори еще. Это хорошо вспоминать!

Слушая Антощенко, Матросов вспомнил его деда Макара. Давно он видел и слышал старика, но неизгладимо жила в сердце дедова сказка.

Поеживаясь, Матросов внимательно оглядел избу и обратился к друзьям:

— Братки, — а что если палатками завесить окна, а печь исправить и затопить? Тут тебе будет кипяток, жареное и пареное, и сколько народу попеременно погреется, — а?

— Надоел прямо, — проворчал Макеев. — Тут месту рад, пальцем пошевелить больно, а он лезет с выдумками. Не до печки тут.

Матросов молча засучил рукава и, посвистывая, начал заделывать печь. Потом Воронов, Костылев и Дарбадаев стали помогать ему, тоже молча.

Макеев смущенно косился на них, жуя мерзлый хлеб.

— Минуту быть нам тут, а вы зря возитесь.

---

[1] Цыбуля — лук.

— Минутки-то и должно хватить, — усмехнулся Матросов.

Скоро в печке загудело пламя, и в нее со всех сторон стали совать набитые снегом котелки, кружки, куски мерзлого хлеба. В избу до отказа набилось бойцов. В самый темный угол пробрался и Макеев. Отогревшись и повеселев, люди ели поджаренные консервы, пили чай.

— У солдата домов, — что кустов и холмов, а любая хата и дворца краше, — весело сказал Матросов, снимая с печки котелок с кипящей водой, и подмигнул Макееву: — Держи кружку, браток.

Макеев сконфуженно пробормотал:

— Мы ж лодыри, мы не строили дворцов!

— Ну, не ершись, тезка, наливай, грейся.

— Знаешь, Сашка, — пристально посмотрев ему в глаза, сказал Макеев, — хоть ты часто сердишься на меня, а всё-таки ты друг настоящий.

Воронов язвительно заметил:

— Выходит, Макеев, твою дружбу за кружку кипятку или за табачную понюшку купить можно.

— А что? Дружбу, как и брюхо, подкармливать надо.

— Ерунда! Настоящий друг даже на смерть пойдет за друга. Как смотришь, тезка?

— Братки, да это трудно сразу, — смутился Матросов. — Помню, кто-то сказал: если ты ищешь друга без недостатков, рискуешь остаться без друзей. Это верно, по-моему. Но это не значит, что друзья все, без разбора. Для меня друг — это тот человек, которому мне всегда хочется сделать что-нибудь хорошее. И я в нем вижу хорошее.

— Больно много у тебя хороших.

— Их много и есть. Да не всегда скоро в человеке разглядишь хорошее. Иногда поссоришься с человеком, обозлишься на него, нагрубишь ему, а приглядишься, — он душевный человек. И так стыдно станет, хоть сквозь землю провались! А чем больше друзей, тем лучше. Ясно? Жить легче, в бою порука, и душу отвести есть с кем.

В избу вошли взводный Кораблев и старшина Кедров. В мигающем свете горящих лучин люди, звеня кружками, пили чай, оживленно говорили.

— Э, да у вас тут настоящий ресторан! — подмигнул Кедров.

— Богато живете, — одобрительно сказал взводный. — А у всех ли порядок, не стер ли кто ноги?

Антощенко опустил глаза.

— Матросов, а я куницу видел, — весело заговорил Кедров, срывая ледяшки с усов. — Гналась за белкой. Понимаешь, с дерева на дерево, ну, лётом летит проклятая. Насилу удержался. Ух, как хотелось подшибить ее! Еще видел, как шныряли в рябиннике и клевали подмороженную красную рябину хохлачи-свиристели. Занятные птицы.

Матросов был рад приходу Кедрова:

— Товарищ старшина, садитесь, пожалуйста. У нас тепло. Чайку попейте. Табачком снабдим. А вы расскажите нам, как охотились в тайге.

— Некогда, Матросов, после расскажу, после.

Когда взводный и старшина ушли, усталые бойцы притихли. Лучина погасла. Кое-кто уже спал, лежа или сидя. Только в углу кряхтел Антощенко.

— Антошка, что с тобой? — спросил Матросов.

— Так, ничего.

Но в голосе его что-то недоброе. Матросов пробрался к нему и стал допытываться, — что случилось?

— Та що говорить? — сердился Антощенко. — Ну, если пристал, як репьях, то скажи: ты мне друг, Сашко?

— Вот чудак, еще спрашиваешь!

— Так никому ж не говори, — шептал он. — Я почти до кости растер ногу, на портянках кровь засохла, а сказать кому — боюсь, бо меня в медсанбат отошлют.

— Вот дурная голова! Ну чего ж ты молчал?

— Та не сердься, Сашко. А ще друг...

— Не боец ты, Антошка, а дите малое.

— Побачим там, кто боец, — обиделся Антощенко. — Не кажы гоп, пока не перескочишь. Сукно трет, понимаешь?

Матросов порылся в вещевом мешке.

— Возьми вот мягкие портянки. Фланель.

— Оно колы б такие онучи, як дома, — кряхтел Антощенко, обертывая ногу. — У Леси холстына мягче ваты. Чуешь, Сашко?

Но Матросов сидя уже крепко спал.

Через несколько минут, отвернув палатку, в окно всунул голову Кедров и с хрипотцой, сурово скомандовал:

— Встать! — И тихо, отечески добавил: — Вставай, сынки, подымайся. Дома выспимся.

Матросов зевнул, поднялся и строго потребовал:

— Давай, Антошка, твоего «сидора» я понесу.

— Ну бери.

Антощенко не удивился этой помощи. Матросов многим бойцам помогал: одному — вещевой мешок понести, другому — гранаты или диски автоматные. Но эта дружеская помощь взволновала Антощенко, и он, благодарный, шагал за Матросовым не отставая.

— Ну, Сашко, и накатаемся мы на човне по Днипру и наспиваемся ж, когда отвоюемся.

Ночью вьюга стихла. Небо прояснилось. В большом оранжево-голубом круге показалась ущербленная луна. В серебристой прозрачной мгле выступали, как в сказочном уборе, облепленные снегом деревья, и низкие звезды словно повисли на их седых кронах.

Люди шли тихо. Слышался только глухой скрип снега.

Следующий привал был перед рассветом. Люди сразу же валились на снег и засыпали.

Матросов отдал Антощенко вещевой мешок, автомат и, вытягиваясь на снегу, спросил его, — болят ли ноги?

— Та ничего. Занемела боль, не чую.

Друзья скоро уснули. Матросову показалось, что он спал очень долго, когда пронизывающая всё тело зябкая дрожь разбудила его. Но спал он всего несколько минут. Мороз щипал за нос. Матросов хотел повернуться на бок, чтоб свернуться в комок, согреться и снова уснуть, но его что-то держало: оказалось, шинель примерзла к коряге. Он осторожно отодрал ее и встал.

«И хорошо, что проснулся, а то совсем закоченел бы». Он с тревогой думал о спящих на снегу людях. Не чувствуя холода во сне, они могли простудиться, заболеть, а может, и замерзнуть. Он переходил от одного бойца к другому, будил их и требовал повернуться на другой бок. Бойцы не удивлялись: не впервые Матросов делал это. Лишь некоторые спросонья недовольно ворчали.

— Вот пристал, как оса! — вздохнул Воронов. — Ни минуты покоя от тебя!

Матросов разложил костерок, протянул растопыренные пальцы над колеблющимся оранжевым пламенем:

— А ну, братки, кто замерз, грейся!

Темнота вокруг сгустилась. Из темноты выходили люди. Окружив костер, они грели руки, закуривали.

— Молодчина, Сашка, что разбудил, — сказал Воронов. — А то будто живот уже обледенел.

Макеев тоже проснулся, но никак не мог встать.

— Да кто меня держит? — сердито говорил он...

Воронов и Матросов взяли его за руки и подняли. Оказалось, и его одежда примерзла.

Суслов, отогревшись у костра, начал рассуждать о закалке:

— До войны бывало дома босиком зимой по полу походишь — и зачихал: насморк. А тут в октябре я переплывал речку — ледок уже ломался. Ну, думаю, простужусь. А побегал, градусного хлебнул — и хоть бы что!

Раскачиваясь, вышел из темноты огромный, как великан, Дарбадаев. Хрипло заговорил простуженным басом:

— А ну, у кого табачок, угощай!

Все молчали, табачок на исходе, — приберечь надо.

— На, прожора, — протянул кисет Матросов.

— Да у тебя тут, Сашутка, всего на закурку.

— Бери, бери! Я себе всего добуду. Мне, спасибо, не отказывают.

Ему нравилось угощать других чем-нибудь, и он делился последним, что имел. Ему платили тем же.

Снова растянувшись в лесной чащобе, торопливо передвигалась колонна. Опять Матросов нес вещевой мешок Антощенко. Он сам уже устал и пошатывался. Дарбадаев молча взял у него вещи Антощенко.

— И верно, понеси, Мишка, до привала. Ты ведь здоровей верблюда.

— Не говори! И я качаюсь, — ноги будто не мои!

Взошло над лесом и пригрело февральское солнце, и утренний привал был особенно желанным. Под теплыми лучами так сладостно вздремнуть! Сон теперь был милее всего на свете. Даже про еду люди забыли, расправляя под солнцем ноющее тело. Матросов, лежа на спине, с удивлением увидел на ветках ракиты сизо-серебристый пушок распускающихся почек. Еще больше удивил его тончайший цветочный запах. Откуда он? Почудилось, что ли? Он принюхался: ветерок нес запах от тополя, что стоял шагах в двадцати. Матросов не вытерпел: встал, отломил ветку, размял липкую от зеле-

новатого густого, как смола, сока почку, понюхал и повеселел. Вот она, жизнь! Еще кругом белым-бело от снегов и ночью он примерз, а почки уже наливаются соком, набухают. Значит, весна уже идет. Он отломил еще ветку ракиты и спрятал обе ветки в карман ватника, чтоб показать их Кедрову.

С улыбкой он стал ложиться, чтобы немного подремать, но увидел Антощенко и насторожился. Тот уединился за сосной и, сняв валенки и воровски озираясь, что-то делал со своими ногами. Матросов, вздохнув, подошел к нему. Антощенко, оглянувшись, прикрыл ноги.

— Покажи! — потребовал Матросов.

— Та чего тут показывать? Не театр. — И нехотя открыл окровавленную ногу.

Матросов сердито нахмурился:

— Ну, прямо ты, Петро, пустая голова! Побить тебя — мало. Нет, кончу я с тобой дружить. Довольно возился! Ну, что это? Хлястик оборван. Искалечил себя, — значит, неумелый боец, не знаешь, как нужно ноги обернуть. Ну, кому всё это наруку? Врагу — вот кому. А еще комсомолец! И на собрании обещался быть примерным.

Антощенко смутился. Он знал: Матросов аккуратен до щепетильности. Непорядка в его одежде еще никто не видел.

— Та не бурчи, Сашко! Мне ж и так тошно. И нога горит, и хлястик пришить не можу. Пальцы задубели. Иголку не держут. Хоть в петлю лезь.

Матросов сразу смягчился:

— Уже и раскис! При чем тут петля? Вот что надо.

Он вскрыл индивидуальный пакет, чтоб забинтовать Петру ногу, но увидел на икре глубокую кровоточащую рану с обсохшей по краям кровью и опустил руки:

— Врешь, Антошка. Ты не натер ногу: тут дырка.

— Ну, нэхай дырка, — холодно усмехнулся Антощенко. — Тебе веселей, що дырка? А всё-таки и натер, — показал он на растертую щиколотку. — Не дуйся, Сашко. Я уже тебе говорил: на тактических учениях напоролся на проволоку. Цэ ж оно и есть, только растер. И щиколотку растер: бо неудобно итти больной ногой. Та никому не говори. А то сам знаешь, какие у нас языкастые хлопцы — сразу донесут Вале, а та в санбат вернет меня.

— Ладно, плакса, — сказал Матросов.

Когда прикладывал к ране вату и потуже закручивал бинтами, почувствовал братскую нежность к этому большому и скромному парню.

— Ты, Антошка, не сердись, что нашумел. Сам знаешь, какой я горячий и отходчивый. Это у меня в Уфе есть братишка — Тимоня. Ну точь-в-точь вроде тебя неумелка. Ты его и обмой, ты его и обшей. А всё-таки я его больше всех люблю, Тимошку.

Антощенко почувствовал душевную силу друга.

— Так и я ж тебя, чорта, больше всех... Больше нема у меня таких, як ты. Иной, видишь, дружит, пока ему выгодно, а як друг в беде, — моя хата с краю, ничего не знаю. — И хмурое лицо его прояснилось улыбкой.

— Без дружбы, Петро, нельзя. Не имеющий друзей — самый бедный человек. Ну, снимай шинель!

Матросов вынул из вещевого мешка узелок, где были иголки и мотки разных ниток, стал пришивать хлястик.

Валя Щепица, увидев их, пошла к ним напрямик, с трудом вытаскивая из нетоптанного снега большие валенки. Балансируя, она взмахивала руками и тащила на боку огромную парусиновую сумку с красным крестом, набитую медикаментами. С этой сумкой она, как с личным оружием, никогда не расставалась.

Подойдя, она строго спросила Антощенко:

— Ты чего хромаешь? Натертость, что ли?

— Та вже ж, — нехотя ответил тот.

— Профилактику против инфекции проделал? Снимай валенки!

Повернувшись к Вале, уже шутливым тоном Антощенко сказал, кивнув на ногу:

— Та нема там ничого. Смотри ж ты, глазастая какая, приметила, що як шкандыбаю. [1] Ничого, Валюшечка, иди ты отсюдова, иди, дивчинко.

Валя рассердилась, и полные щеки ее от подбородка до висков вспыхнули румянцем:

— Ты мне, знаешь, голову не морочь! Наживешь гангрену, — возись потом с тобой! Из строя выйдешь. Армия бойца потеряет через наши любезности. Не дозволю этого! Давай перевяжу. Видела: на левую при-

---

[1] Шкандыбать — хромать.

падал. — И, не дожидаясь согласия, стащила с его ноги валенок.

Оторопевший Антощенко растерянно смотрел то на Валю, то на Матросова.

— Ох, пройдоха! — ворчала Валя, разглядывая рану. — Так и есть. Икроножное ранение. Да какой тебе дурак еще перевязку делал не по правилу? Нет, я тебя немедленно эвакуирую в медсанбат.

— Ты, Валя, не кричи, а то еще почует кто. Не отсылай меня в санбат, не разлучай с хлопцами.

— Даже слушать не хочу. А инструкция что гласит? Что, я из-за тебя инструкцию буду нарушать? По-комсомольски это? — И, промывая и забинтовывая рану, покачивала головой. — Ну и хитрецы! Ишь, сами вздумали перевязку делать. Видали? Дровоколы в медики лезут. Да что вы — курсы, мединституты кончали? Да

разве есть у вас риваноль, скипидар и марганцовка? То-то и оно-то! — Но голос ее был мягче. Наконец, она, заканчивая перевязку, вздохнула. — Эх, вы, хлопятки, прямо-таки и смех и горе с вами!

Тут Антощенко, улучив минуту, взмолился:

— Ну, Валечка, ну, сестричка ро́дная, не отрывай меня от дружков, не гони в санбат.

— Ладно, пущу тебя еще на один переход, а там посмотрим. — И, прямая, гордая, зашагала прочь.

Довольная улыбка расплылась по обветренному лицу Антощенко.

— Смотри ж ты! Думал, она — бесчувственная формалистка, а она душевная, ценит солдатскую дружбу.

— Ну и отчитала нас, просто чудо-девушка! — рассмеялся Матросов, продолжая пришивать хлястик.

К ним подошел старшина Кедров. Он внимательно осмотрел немудрую работу Матросова, расправил усы:

— Это по-моему. Солдат всё должен уметь. Заплату поставить, зашить, из топора кашу сварить, из земли дом сделать. А дружку подсобить, — так и вдвойне хорошо.

— Да это сможет всякий, товарищ старшина.

— Не скажи. Как там?.. «Рожь и пшеница летом родится, а хороший человек всегда пригодится. В бою да в беде друзья познаются». Вот гляжу на тебя, Матросов, — артельный ты человек.

— Я хитрый, товарищ старшина, — ответил, улыбнувшись, Матросов. — У меня такой расчет: чем крепче каждый в отдельности, тем сильнее мы все вместе.

Старшина вдруг прислушался, значительно взглянул на Матросова, как смотрят на ребятишек, которых хотят удивить неожиданным удовольствием, потом глазами показал вверх. Дятел старательно долбил корявый ствол старой осины.

— Вот она, дятлова кузница. Засунул шишку в щель, рябой, и выклевывает семена. Каждая тварь, видишь, приспособление имеет и свой следок. Бывало выйдешь в лес и заглядишься. Тут видишь, как заяц-беляк по снегу петлял, там выдра-каналья с горки катилась; а то, глядишь, следок будто цепочка на снегу — по две лапки всё, а левая чуточку впереди, — значит, горностай или ласка прогулялась... Ну, отдыхай, ребята. Подъем скоро. — И ушел.

Когда раздалась команда продолжать путь, изнуренные и разнеженные солнцем люди, казалось, не смогут встать. Воронов спросонья никак не мог обмотать портянкой ногу. Макеев несколько раз поднимался и снова валился, засыпая.

Когда впереди колонна тронулась, на обочине дороги под сосной показался Кедров. Он увидел нахмуренные лица бойцов и, лихо подкручивая свои седые усы, задорно крикнул:

— Эй, песельники-запевалы, давай песню повеселей!

— Есть песню повеселей! — отозвался Матросов и запел:

Пролетают кони да шляхом каменистым.
В стремени привстал передовой.
И поэскадронно бойцы-кавалеристы,
Подтянув поводья, вылетают в бой.

Друзья — Воронов, Дарбадаев и Костылев — подхватили:

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами.
Разобьем по-сталински врага.

Хмурь и дрема сошли с лиц бойцов. Стараясь шагать в ногу, один за другим все бойцы подхватили песню.

Глава XXV

ПИСЬМА

В селе Михаи, у реки Ловать, была последняя дневка этого трудного марша. Линия фронта близко. Из-за Большого Ломоватого бора уже слышен орудийный гул. Трудный марш позади. Шесть дней и ночей шли люди, останавливаясь только на короткие привалы. Часто менялась погода. Крепкие морозы порой сдавливали дыхание. Потом пригревало солнце, на ветках блестели капли, и весенним птичьим перезвоном наполнялся лес. И снова бушевала вьюга, заваливая сугробами тропы, слепя глаза и сбивая человека с ног. Но и в этой частой смене февральской погоды уже угадывалось приближение весны. Теперь двухсоткилометровый поход заканчивался.

В село еще втягивался хвост колонны, а в штабах бригады уже шла напряженная работа.

Штаб второго батальона разместился в одной из уцелевших изб на краю села. Автоматчики расположились здесь же по соседству, в сараях.

За шесть последних дней бойцам надоело валяться на снегу. Они рады, что хоть несколько часов проведут под крышей, и сразу повалились на раскиданное по сараю порыжелое сено.

— Не сарай, а спальня с пуховиками, — подмигнул Матросов дружкам и довольно растянулся на сене.

Но из-за туч выглянуло солнце и так пригрело, что с крыш часто закапало. Из «спальни», где под тонким слоем сена мерзлая земля, бойцов потянуло погреться на

солнце. Снег стал мягкий, как вата. Вышел и Матросов.

Открылась дверь в штабной избе, послышался сердитый голос комбата Афанасьева:

— Что я их — на горбу понесу?

И тихий, но твердый голос замполита Климских:

— Сам знаешь, Алексеич, если надо, то и на горбу.

Дверь захлопнули. Там шло совещание. Батальон получил боевую задачу: быстро пройти Большой Ломоватый бор, на рассвете овладеть деревней Чернушки и продвигаться дальше по своей полосе наступления. Это была часть общей задачи корпуса. Но выяснилось, что выполнение задачи, поставленной батальону, усложняется непредвиденными обстоятельствами. Деревня была мощным укреплением, опорным пунктом противника, со сложной системой дзотов и других огневых точек, а из-за лесного и болотного бездорожья туда сейчас невозможно продвинуть нашу тяжелую технику. Решался вопрос, как подтянуть хоть пару полковых пушек.

Бойцы еще не знали о боевой задаче, о предстоящих трудностях. Изнуренные до предела, вытянув одеревяневшее ноющее тело под горячим ласковым солнцем, они старались получше использовать каждую минуту отдыха. Кое-кто уже крепко спал. Но вот всех сразу взбудоражил возбужденный крик с улицы:

— Почта! Письма!

Неожиданно и удивительно было, что даже на таком долгом и трудном марше полевая почта работала четко и бесперебойно. Но сомнений не было: невзрачный и шустрый батальонный почтарь — «окопная радость» — Ефим Гусев, поводя раскосыми смеющимися глазами, раздавал письма, и вокруг него толкались люди, забыв про усталость.

Матросов не ждал писем: мал срок, чтобы они успели прийти по новому адресу, да еще на марше. Тем больше он обрадовался, получив сразу три письма — от Лины, Тимошки и от Еремина. Отойдя в сторону, первым он стал читать письмо Лины. Она писала о напряженной трудовой жизни детской колонии. Многие воспитанники на фабрике выполняют по две-три нормы. И несколько раз перечитал то место, где она говорила, что теперь только по-настоящему поняла, какое было счастье, когда они были вместе: «Говорить о путешественниках,

об открытиях науки, вместе слушать музыку, мечтать — у меня дух захватывает, когда об этом думаю. Не умели мы ценить это. Воюй как надо, Сашенька, и возвращайся с победой. Жду, жду, жду».

Тимошка Щукин писал, что его, Щукина, имя занесено на доску почета. Альбом героев Отечественной войны он значительно пополнил, а на-днях поместил туда вырезанный из газеты портрет их бывшего однокашника, а теперь летчика Брызгина, который в боях за Сталинград сбил три вражеских самолета. Еще Тимошка мельком обмолвился, что изучает английский язык и следующее письмо, может, напишет по-английски. И Матросов довольно рассмеялся, представив себе Тимошку говорящим по-английски.

Еремин писал коротко: работает мастером столярного цеха, и работы так много, что он днюет и ночует в цехе. Впрочем, все много работают. Силач Клыков, например, чтоб не отвлекать от работы других, один выносит из мастерской изготовленные снарядные ящики, работая за пятерых. И странно было теперь Матросову вспоминать былое поведение этого человека. И еще Еремин сообщал, что получил письмо от их общего дружка Виктора Чайки, который учится в военном училище. Заканчивалось письмо так: «Как видишь, все слово держим и нашей дружбы не посрамим».

Легко на душе, хороши письма. Саша поспешил со своей радостью к фронтовым дружкам. Они уже собрались в веселый кружок у плетня и оживленно говорили о новостях, что принесли письма с разных концов страны. Саша шел степенно, широко шагая, а самому хотелось побежать с подскоком, как бегал в детстве.

К автоматчикам подошел Буграчев.

— Ну, чрезвычайные происшествия есть, хлопцы?

— Совсем наоборот, товарищ капитан, — ответил Дарбадаев и первый заговорил о полученном письме. Его Магрифа стала в колхозе бригадиром. Хотя в их колхозе остались одни старики, женщины и дети, дела идут там не так уж плохо: урожай собрали больше довоенного.

Костылев получил письмо от сестры-геолога из-за Полярного круга. В вековечных тундрах найдены значительные запасы каменного угля, и там строится новый город — Воркута. И хотя там стоят шестидесятиградус-

ные морозы, люди согреты дерзновенной мечтой, людям жарко от спешной работы: Донбасс временно захватили враги, а стране нужен уголь.

Воронову прислала письмо девушка из Сухуми. Там уже цвели мушмула и миндаль. Девушка рассказывала, как трудятся люди на ее фабрике и перевыполняют производственные нормы.

Из Магнитогорска Макееву писал брат Герасим. У него, сталевара, почернела кожа на лице от бессменного нахождения у мартеновской печи, но он готов еще больше работать для фронта, только б скорее гнали врага. Так трудятся и думают все рабочие завода.

Бугрaчев внимательно слушал и хитровато косился на бойцов. Он хорошо знал, какое значение имеют письма для их настроения.

— Получил, товарищи, и я письмецо, — сказал он. — Такой у меня есть друг — Володя Яковенко. Думаю, таким другом и погордиться можно. Пишет мне из госпиталя. Знаете, ему всю ногу до самого бедра ампутировали, а он не хнычет, а готовится сдавать экзамен за весь третий курс института. Так и пишет: не хочу в госпитале зря кашу есть и терять времени. Вот он какой!

Такая беседа, возникшая внезапно, могла продолжаться часами, и всё нашлось бы о чем говорить.

Комсорг Брагин всегда хотел знать о горестях и радостях комсомольцев.

— А ведь Антощенко тоже как будто получил письмо? — сказал он.

Матросов кинулся разыскивать дружка.

В стороне у сарая, надвинув на глаза шапку, сидел Михась Белевич и пел грустную песню про «перепелачку», у которой «грудка балить, хлебца няма».

— Михась, не получил письма? — спросил Матросов.

— Жду всё. Да чи дождусь! — махнул он рукой.

— Жди, Михаська, не унывай, — ласково сказал Матросов. — Антощенко не видел?

Антощенко сидел один за сараем и, облокотившись, задумчиво смотрел в лес. Он молча протянул Матросову письмо.

— От Леси, — доверительно сказал он дрожащим голосом, тяжело вздохнув. — Ты, Сашко, только послухай, що она пишет. — И стал читать:

«Ище пишу тоби, Петрику любый, про наших дидусю Макара. Коли их эсэсовцы вешали в саду на груше, дидуся крикнули так, що аж залунало [1] по-над Днипром: «Брешете, вороги! Все одно не одолеете нашу землю, народною кровью политую, а сгинете, як та чорная чума под солнцем!» А повесили дидусю за то, що ходили по селам с кобзою [2] и сказку говорили про то, вид чого полевой мак цвите, и в партизаны селян кликали».

Матросов слушал и мрачно смотрел в землю. Совсем отлетела его радость, еще минуту назад наполнявшая сердце. Не может он радоваться, когда кругом горе, а гибель деда — это и его печаль. Дидуся, дидуся, давняя встреча с тобой там, в саду, так взволновала бездомного хлопчика глубиной твоего человеколюбия, что не забудется никогда. Как утрата самого близкого человека, потрясла Матросова гибель деда.

«А ище пишу тоби, любый Петрику, що я теперь калека, — читал Антощенко, задыхаясь, точно слова застревали в горле. — *Гнали нас, дивчат и молодиц, в неметчину. Мы падали, целовали землю, плакали, прощались. А комендант Друцкер кричит: «Шнель! [3] Вперед, марш!» А як дотронулся он до мене, я не стерпела, плюнула ему в рыло. Потом схватила каменюку и ударила его по голове... Началась потасовка. И неначе на всю степь закричала я: «Утекайте все в лес до партизан!» И все побегли. А мене фашисты подстрелили. Дивчата Крутою Балкою несли мене до самого леса. Теперь партизанский врач лечит мене. Нога перебита, и, може, так и останусь калекою. А все село наше вороги спалили, а колхозный сад порубали...»*

Длинными путями кочевало это письмо, сложенное треугольником, пока дошло сюда. Советский летчик доставил его из партизанского края в Москву; отсюда оно пошло в военно-пехотное училище. Там, видно, в судьбе его принял участие начальник училища — полковник Рябченко — и дал ему дальнейший ход. И вот теперь этот листок бумаги, казалось, еще хранивший теплоту десятков чутких человеческих рук, поведал неизбывную печаль именно тому, для кого она наиболее мучительна. Антощенко уже несколько раз перечитал письмо и всё не мог оторвать от него глаз.

Матросов сжал его дрожащую руку и сквозь стиснутые зубы тихо сказал:

---

[1] Залунало — разнеслось эхо.
[2] Кобза — украинский народный струнный инструмент.
[3] Шнель! (нем.) — быстрее!

— Мы им за всё отплатим! А ты не горюй; этим не поможешь. Почему ты прячешься?

— Та не хочу хлопцам настроение портить.

— Чудак! Наоборот, всем ребятам надо почитать это письмо. Пусть знают, что люди терпят. Пойдем к ним, Петруся, пойдем, браток.

— Та що я — артист? Не пойду, — упрямо заявил Антощенко.

Матросов понимающе посмотрел ему в глаза и не стал его принуждать.

★

Командование отбирало для участия в разведке самых расторопных бойцов. Матросову очень хотелось скорее проверить себя в опасном деле. У него дух захватывало, — так хотелось побывать в разведке. Еще в пору своего бездомного детства и потом за школьной партой в Уфимской трудовой колонии он мечтал о повторении лихих дел разведчиков легендарных дивизий Чапаева, Щорса и конной армии Буденного.

Он побежал к командиру роты автоматчиков — Артюхову.

— Разрешите и мне в разведку, товарищ старший лейтенант. Прошу вас, разрешите! Верьте совести, не подведу.

Артюхов вначале сразу отказал ему: разведка — не прогулка с веселыми приключениями, а трудное и опасное дело. Разведгруппе поставлена очень ответственная задача, и посылают в разведку самых опытных людей.

На лице Матросова выразилось такое огорчение, что командир роты даже отвернулся. Видно было, что неугомонный и гордый паренек этот теперь не успокоится. Артюхов поразмыслил и признал свои доводы несправедливыми: Матросов достаточно серьезен и понимает важность предполагаемой разведки да и по расторопности не хуже других.

— Ладно, разрешаю тебе итти в разведку, — сказал командир роты. — Да смотри, не подкачай!

Глава XXVI

В РАЗВЕДКЕ

После необходимых приготовлений разведгруппа незаметно скрылась в лесу. Взволнованный Матросов настороженно смотрел вокруг и следил за каждым движением опытных разведчиков.

В лесу стемнело раньше обычного. Плотные сизые облака будто непроницаемым пологом окутали лес. Зашумели, качаясь, верхушки высоких сосен, повалил снег, и вскоре поднялась такая вьюга, что всё потонуло в снежной кипящей мгле и за несколько шагов ничего не было видно.

Командир разведгруппы лейтенант Вагин всё чаще смотрел на компас со светящимся циферблатом и торопил людей. Он волновался, хотя и скрывал это, стараясь быть самоуверенным. Под прикрытием вьюги легче было пробраться к переднему краю противника, но вьюга же могла и погубить разведчиков, скрыв от них какую-нибудь хитрую ловушку, минное поле или проволочное заграждение с условной сигнализацией. Не раз Вагин удачно хаживал в ночной поиск и считался опытным разведчиком, но теперь данные наблюдения за противником и вообще всю подготовку поиска он считал недостаточными, а более тщательно подготовиться — некогда.

Матросов, как и другие разведчики, непоколебимо верил в способности лейтенанта Вагина и в удачный исход дела. Озабочен был Саша лишь тем, как самому лучше выполнить свои обязанности. Он знал свою скромную роль в этом поиске: в случае надобности, он и

бойцы Сизов и Лыков будут огнем прикрывать отход группы захвата. Мысленно он представлял себе, как воплотится в действие та тщательно расчерченная на листе бумаги схема, какую разъяснял Вагин.

Пока всё шло не так, как он предполагал раньше, воображая себя разведчиком. Не было приподнятой романтической взволнованности, и он вовсе не чувствовал себя отчаянным и лихим героем. Напротив, он ловил себя на том, что вздрагивал, когда в этой окружающей кромешной тьме вдруг раздавался треск и глухой шум падающего дерева, надломленного бурей, или из-под ног вдруг со свистом и странным хрипом взлетала какая-то большая птица, или на голову падал сорвавшийся с ветки ком снега. Ныло плечо от автоматного ремня, на левой ноге сбилась и терла портянка, и всё тело, точно свинцом, наливалось усталостью. Итти было трудно, часто ноги глубоко проваливались в снег, цеплялись за пни и коряги. От нервного напряжения шумело в ушах. Путь казался нескончаемо-долгим.

Наконец они вышли на передний край, долго шли траншеями, в темноте натыкаясь на сидящих там людей. Потом разведчики остановились и Матросова за полу шинели потянули вниз.

— Садись, — привал, — прошептал Сизов.

Это было расположение боевого охранения, исходная позиция разведгруппы. На переднем крае — тихо. Лишь изредка где-то, будто сонный клекот диковинной птицы, раздавались короткие тупые пулеметные очереди да вспыхивали ракеты. А на участке, где были разведчики, стояла зловещая тишина. Только слышались завывание вьюги и шум деревьев.

Лейтенант Вагин шопотом сделал последние распоряжения и еще раз предупредил:

— Ползти бесшумно, действовать решительно, быстро и смело!

Они прошли еще метров с полсотни по извилистой траншее, выведенной в глубь нейтральной зоны. Вагин о чем-то пошептался с дозорным, и разведчики выбрались из траншеи на голую кочковатую поляну, за которой начинался вражеский передний край. На поляне темнота была сероватая, и сквозь вьюжную мглу можно было с трудом различить контуры леса. Тут ветер налетал порывами и захлестывал глаза снегом.

Когда Матросов в группе прикрытия полз по снежной целине, то невольно думал о разнообразных минах — натяжного и нажимного действия, — и от холодка, проникающего будто в самое часто бьющееся сердце, перехватывало дыхание. Но он упрямо полз, гоня мысли о минах и плотнее прижимаясь к земле.

Вдруг он услышал: справа кто-то промычал и сразу стих. Опять звенящая в ушах тишина да шум ветра. Матросов с напряжением вгляделся в темноту и увидел, как группа захвата волокла «языка», и чуть не вскрикнул от радости.

Но внезапно он был ослеплен ярким светом вспыхнувшей над поляной ракеты. Лихорадочно затрещал вражеский пулемет. Припав лицом к снегу, Матросов решил: «Надо действовать!»

Открыв глаза, он увидел: Сизов и Лыков, отползая, били короткими автоматными очередями по вражескому пулемету. Александр тоже дал несколько очередей из своего автомата. Огонь пулемета был перенесен на группу прикрытия.

Сизов был ранен, упал и не мог ползти. Матросов, помня заповедь советского воина: «Сам погибай, а товарища выручай», кинулся к Сизову, стал было тащить его. Но тотчас же увидел совсем близко частые пулеметные вспышки. Пулемет бил прямо по ним. От его огня могли погибнуть все трое.

— Я заставлю замолчать пулемет, — сказал Матросов Лыкову. — Я обману фашистов, отвлеку огонь на себя, а ты скорей тащи Сизова.

Так и вышло: он отполз в сторону, залег за кочкой, — и после его третьей короткой автоматной очереди вражеский пулемет смолк. Потом снова заработал, — и пули полетели в его сторону. Этого и добивался Матросов. Лыков утащил Сизова. Скрылись в нашей траншее и разведчики. Убедившись, что все свои ушли, побежал было и Матросов.

Но над самой его головой опять ослепительно вспыхнула ракета. Поднялся страшный треск и грохот от разрывов снарядов и мин. Казалось, каждый снаряд, каждая мина и пуля летят в него, и за каждым кустом и деревом чудился враг. Оглушенный взрывами, он прыгнул в глубокую воронку, зияющую вывороченным суглинком, как свежая рана, припал щекой к вздра-

гивающей, еще теплой, дымящейся земле, пахнущей гарью.

Огонь и вьюга бушевали на всей поляне нейтральной зоны. Кипела снежная предрассветная мгла, разрываемая вспышками взрывов. Не утихал оглушающий орудийный и минометный грохот, лихорадочный пулеметный треск и зловещий свист осколков.

Гитлеровцы неистовствовали: наши разведчики у них из-под самого носа увели «языка» — часового 285-й пехотной дивизии СС. Теперь они старались плотным огнем накрыть и уничтожить разведгруппу и своего незадачливого эсэсовца. Но били они наугад: снежная муть поглощала мертвенный бледнозеленый свет ракет и цветные вспышки трассирующих пуль.

Матросову трудно было понять: беснующаяся вьюга или взрывные волны швыряли в лицо тучи колючего снега, слепили глаза. Тяжело падали на каску комья мерзлого суглинка. Оцепенев, некоторое время он лежал бездумно, инстинктивно желая одного — плотнее прижаться к земле, укрыться от огненного вихря.

Спохватился Матросов, когда уже рассвело и фашисты перенесли огонь дальше. Он вспомнил: прикрывающие отход разведгруппы бойцы, пригибаясь, бежали к траншее на опушке леса, когда он прыгнул в воронку. Все разведчики, видимо, благополучно вернулись к своим. Ему тоже надо было скорее покинуть поляну и укрыться в лесу.

«Струсил!» — сознался Матросов со свойственной ему прямотой, и щемящая тоска сжала сердце.

Как же теперь добраться до своих? Сидя на дне воронки, он видел на фоне прояснившегося утреннего розоватого неба верхушки сосен и елей желанного Большого Ломоватого бора, где были свои. Хотелось немедленно и быстро бежать туда, и не решался: враги так близко, что слышны их голоса. На этой открытой поляне они могут легко подсечь его огнем и взять в плен. Но оставаться в воронке тоже опасно: и здесь они могут захватить его.

Он решил не обнаруживать себя, пока не придумает выход из этого трудного положения. Затаив дыхание и напрягая слух, Матросов прижимал автомат к груди и держал в руке гранату наготове. Если фашисты полезут, он будет отбиваться до последнего дыхания, а если

попытаются взять живьем, — гранатой подорвет себя и их. Решение принято.

Всё тело дрожало от озноба и нервного напряжения. Но страшнее беснующегося вокруг огня было сознание совершённой непростительной ошибки. Так долго и упорно он готовил себя к боевым делам, так настойчиво просился в разведку и вот в самую решительную минуту не выдержал испытания. Сам себя посадил в эту гибельную западню!

Как-то в военно-пехотном училище он с волнением и азартом стал говорить участнику многих боев офицеру-преподавателю, какие отважные дела он, Матросов, мог бы совершить, если бы стал разведчиком. «Романтика, — с улыбкой сказал капитан. — Всё гораздо проще и труднее. Каждое движение должно быть обдумано и рассчитано до сотой доли секунды. Подвиг — не озорство, а хладнокровный умелый труд».

Матросов потом много раз обдумывал эти слова и соглашался с ними. Не нравилось только пренебрежение к романтике и слово «хладнокровный». Разве не романтичны лихие дела матроса Кошки, Дундича, Котовского? И разве не с полным душевным горением и любовью к народу совершались эти дела?

В страшные минуты, когда Матросов сидел в воронке, будто на взрывчатке, к которой по шнуру уже полз гибельный огонек, о многом думал он. Вспомнил и слова капитана-преподавателя.

«Да, да, я растерялся и прозевал эту сотую долю секунды и решил не так, как надо. А надо было, несмотря на огонь, короткими перебежками скорее добраться до леса, а не прыгать в воронку и не сидеть тут».

В полдень ветер стих, небо очистилось, пригрело солнце. Затих и огонь. Матросов полусидя всё держал наготове автомат и гранату, не смея пошевелиться и высунуть из воронки голову. Руки затекли, онемели. Окоченевшее тело мучительно ныло. Время тянулось нестерпимо медленно. От нервного перенапряжения, бессонной ночи и солнечного тепла ему неодолимо хотелось спать. Уснуть, забыться хоть на одну секунду! Но уснуть — значит, погибнуть. Враги могли нагрянуть в любую минуту и захватить его.

Порой ему хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки, несмотря ни на что. Но ни бежать, ни даже

ползти было нельзя. Испачканный глиной маскировочный халат сразу бы обнаружил его на снежной поляне. До боли стиснув зубы, он терпел, дожидаясь ночи.

Когда сгустились сумерки и он, с трепетом отсчитывая минуты, готовился покинуть проклятую воронку, случилось то, чего он опасался: к воронке подползли фашисты. Сначала послышался тихий, хриплый и настороженный голос еще невидимого вражеского солдата:

— Рус, капут! Сдавайсь!

Матросов молчал, повернув ствол автомата в том направлении, откуда слышался голос.

— Эркель! Ганс Эркель! — помолчав, позвал немец кого-то.

Матросов ждал. И, едва показалась голова фашиста, дал короткую очередь.

Тут мелькнула мысль, что вражеский солдат не один и воронку могут забросать гранатами. Он тотчас же выпрыгнул из воронки и бросил гранату в другого солдата, залегшего метрах в десяти. Взрыв гранаты Матросов услышал, когда бежал уже к ходу сообщения, откуда выходили в разведку.

★

Друзья его еще не спали, когда Матросов вернулся в землянку. У него было хорошее настроение, когда он шел по лесу, и ноги, казалось, несли его сюда сами. Но, входя в землянку, вспомнил свой нелепый, как ему казалось, поступок на поляне, и сердце защемило от стыда. Что скажут командиры и друзья? Легче было сквозь землю провалиться, чем показаться им на глаза.

Произошло же нечто неожиданное. Увидев его, испачканного, изнуренного и хмурого, все кинулись к нему, стали тискать, обнимать, пожимать ему руки. Его считали погибшим.

— Вернулся наш Сашка! Пришел-таки!

— Молодец! Смелый разведчик! Не растерялся!

— Хватит издеваться! — вдруг крикнул Матросов и злые слезы блеснули на глазах. Он считал себя виновным, ждал насмешек и не верил в искренность друзей.

Но вот вошел комроты Артюхов и тоже стал хвалить его. Матросов не вытерпел и сразу выпалил:

— Товарищ старший лейтенант, лучше накажите меня, чем насмехаться.

— Почему кипятишься? — спросил озадаченный Артюхов. — Устал, что ли? Ведь ты и вправду действовал хорошо. Сознательно отвлек на себя огонь противника, способствовал удачному исходу разведки. И верно, молодец. Я даже думаю к награде представить тебя.

Командир говорил серьезно, и Матросов, наконец, поверил в искренность его слов. Что же, по правде говоря, он помог товарищам, а о его минутной растерянности никто ведь не знает. Можно успокоиться, доложить командиру о замеченных огневых точках противника, об убитых им фашистах и, чувствуя себя героем, вместе с товарищами порадоваться общей удаче.

Но Матросов вспомнил, как, просясь в разведку, он сказал: «Верьте совести, — не подведу». Десять лет уже пуще глаза дорожит он этими словами. Тем более теперь комсомольскую совесть свою запятнать он никак не может.

— Не разведчик я, а растяпа! — сердито сказал Матросов, готовый расплакаться. — Рано меня хвалить и награждать. Я растерялся и с испугу кинулся в воронку. Там и просидел весь день.

К стр. 196

Глава XXVII

БОЛЬШОЙ ЛОМОВАТЫЙ БОР

Батальон вступил в лес, когда стемнело, и даже бывалые солдаты сразу почувствовали необычайную трудность этого перехода. Проваливаясь по пояс в снег, бойцы всё необходимое для боя несли на себе: пулеметы, противотанковые ружья, пулеметные ленты и диски, цинки с патронами, гранаты, мины, вещевые мешки с продовольствием. Станковые пулеметы и тяжелые минометы тащили на волокушах, но это было, пожалуй, не легче: волокуши проваливались, глубоко бороздили рыхлый снег, опрокидывались. В лесу было темно, люди натыкались на сучья и ветви, на их головы падали комья снега. Трудно было освободить зацепившуюся за сук одежду: каждое лишнее усилие — мучительно. Ноги глубоко под снегом попадали в болотные лужи, увязали в грязи.

— Хоть бы погромче ругнуться — душу облегчить! — шептал Матросову Дарбадаев.

— В кулак, Мишка, про себя, — тоже шопотом отвечал Матросов.

В лесу тихо. Батальон шел кратчайшим путем с большими предосторожностями. Нельзя громко говорить, курить, стучать. Слышалось только непрерывное шуршанье снега, подобное шуму деревьев, да порой доносился откуда-то волчий вой.

Теперь командиру батальона Афанасьеву ясно, что не только танки, пушки-самоходки, тягачи, «катюши» и прочую технику, но даже простую повозку протащить

невозможно в болотах этой лесной чащобы. Но полковые пушки позади всё же тащили, впрягаясь в них целыми подразделениями.

Полный, добродушный комбриг Деревянко обычно говорил с людьми с усмешкой, но перед началом этого перехода, подчеркивая важность предстоящей операции, хмуро и строго напомнил капитану Афанасьеву:

— Боевой приказ во что бы то ни стало выполнить точно и полностью!

Горячий и вспыльчивый Афанасьев даже покраснел: видимо, его обидело это настойчивое напоминание.

— Слушаюсь, — сказал он сдержанно; только ноздри его нервно вздрагивали.

Теперь он, преодолевая глубокий снег, так быстро пробирался в голову растянувшейся колонны, что за ним еле поспевал связной. Капитан заботливо советовал бойцам, как удобнее тащить и нести тяжести, как выбирать твердый, не проваливающийся снег. Обогнав колонну, он останавливался, пропускал ее мимо себя, подбадривал бойцов, потом снова обгонял их, следя за движением каждого человека.

Вскоре немного прояснилось. В небе засверкали звезды, над лесом поднялась луна. На белом снегу обозначились темные тени деревьев.

Матросова удивляла неутомимая подвижность комбата Афанасьева. Забегая вперед и возвращаясь назад, он удлинял свой трудный путь вдвое, втрое, видно, всей душой отдаваясь своему делу. Вот он, взволнованный, торопится назад. С пригорка видна растянувшаяся колонна. Сзади почему-то остановилась минометная рота. А дальше в лощине тащили и не могли вытащить увязшую в болоте пушку. Там же возбужденно размахивал руками замполит Климских. Теперь ясно, что говорил комбат о пушках: «Что я их — на горбу понесу?»

Матросов увидел отстающего Антощенко, махнул ему рукой, будто говоря: «Поднатужься, иди вперед, помогу».

Но тут же автоматчикам было приказано вернуться к минометчикам и помочь им нести разобранные минометы.

Матросов вместе с другими подошел к заместителю командира минометной роты по строевой части — лейтенанту Курташову, которого впервые увидел несколько часов назад в селе Михаи и проникся уважением к нему.

После тяжелого ранения в ногу Курташов лечился в московском госпитале и, боясь, что потеряет свою часть, не долечившись, поехал ее разыскивать. От Торопца трое суток, дни и ночи, припадая на больную ногу, Курташов шел вдогонку своей части. Он отлично знал, что часть, преодолевая маршевые трудности, торопилась в бой, и боялся опоздать.

Матросов видел, как в селе Михаи Курташов крепко обнимал и целовал людей своей роты. Было ясно: в этом с виду неповоротливом сероглазом казаке из станицы Цымлянской жила упрямая, страстная солдатская любовь к своей части, к своим боевым друзьям.

И теперь, распределяя между бойцами ношу, Курташов был особо деятелен и подвижен, хотя от него, разгоряченного, шел пар и мокрые от пота пряди чуба прилипли ко лбу. Глаза его так поблескивали, будто говорили: «Вот я и дорвался-таки до настоящего дела!»

— Это разрешите мне, товарищ лейтенант, — сказал Матросов, схватившись за плиту миномета.

— Что ты, брат! В ней девятнадцать килограммов, — возразил Курташов. — Ты мал, надорвешься. Давай кого покрупнее.

— Ничего, я попробую. Потом с Дарбадаевым буду чередоваться.

И Матросов взвалил плиту на спину.

Колонна снова двинулась вперед, вытянувшись в цепочку. И опять всех обогнал комбат со связным. С застрявшими пушками он оставил замполита Климских, а сам вел батальон вперед. Дорогá каждая минута. «Всякое промедление пагубно для успеха операции», — эта мысль не покидала его и воплощалась в каждом его движении, поступке. Это чувствовали подчиненные и подтягивались.

Теперь все были нагружены ношей, даже офицеры. Старшина Кедров следил, чтоб не было ни одного отстающего, и сам был обвешан вещевыми мешками, а подмышкой нес бумажный мешок с сухарями.

— На поляне волчий след я разглядел, — поровнявшись с Матросовым, шепнул он. — Знаешь, след будто один, а вижу — шел целый выводок, голов шесть-семь. Это они так идут за вожаком, ступка в ступку. А вечером видел поползня. Кургузый такой остронос, в голубоватом плаще ползет, понимаешь, по дереву головой

вниз и поклевывает кору. Смехота! Жаль, — тебя близко не было. И вообще тут на виду так и шныряют белки, зайцы, тетерева, а стрелять нельзя. Вот обида!

Неусыпная страсть охотника или желание развлечь людей заставляли этого седоусого сибиряка говорить о зверях и птицах.

— Эх, мне бы на охоте с вами побывать, товарищ старшина! — сказал Матросов, согнувшись под ношей.

Старшина, и правда, на несколько минут отвлек его от беспокойной мысли. Сбилась вниз портянка и жала левую ногу. Переобуться нельзя, шагая в общей веренице по тропе, глубокой, как канава, и свернуть с тропы нельзя: справа и слева заснеженная чащоба. Да и что получится, если бойцы будут сворачивать в сторону? И он старался шагать, кривя ногу внутрь ступней, чтоб портянка не терла. Очень растрогала его чуткость Дарбадаева, когда тот сам осторожно снял с его спины минометную плиту.

— Скоро ли хоть привал? — спросил Макеев.

— Лучше не знать, когда привал, — ответил Матросов. — Когда знаешь, трудней всего итти последние километры, даже метры.

— Вообще лучше скорей в бой, чем это! — с раздражением сказал Макеев. — Что это за война! Из последних сил выбиваешься.

Матросов снял с его плеча минометный ствол:

— Это, Макеша, и есть война: испытание во всем: кто выносливее, у кого крепче нервы, выдержка. Слов нет, тяжело, а я доволен. Пришел, значит, наш час, и можно показать, что мы настоящие солдаты. Верно, тезка?

— Правильно, — ответил Воронов.

Матросов хотел сказать, что и ему тяжело, что ноет натертая нога и лямка вещевого мешка больно впилась в плечо, но промолчал. Знает: сразу совсем расхнычется Макеев, и никому не легче будет от его жалоб.

«Привал, привал!» — вдруг полетело по цепи желанное слово, и люди опустились в снег, где кто стоял.

— Эх, покурить бы! — вздохнул Костылев.

— Можно изловчиться. В рукаве потягивать.

Антощенко всё время молчал, и Матросов спросил его:

— Как нога, Антошка?

— Молчи. Нехай хочь як жар пече, — стерплю.

— Ого, какая сила воли! — сказал Воронов.

— Воля? — отозвался Матросов. — А мне кажется: делай всё как надо — вот тебе и воля. Во-время пришить хлястик, почистить оружие и смело итти на опасность — это и есть воля. Верно я говорю, тезка?

Но Воронов уже спал сидя, с нераскрытым кисетом в руке; спали Дарбадаев и Макеев. Смыкались глаза и у Матросова. Он откинулся назад на вещевой мешок и хотел вздремнуть, но к нему подсел Белевич:

— Перед боем в партию хочу вступить. Одобряешь?

— Это, Михась, очень, очень хорошо, — сразу оживился Матросов от такого важного разговора.

— Да вот одной рекомендации нехватает.

— А хочешь, я с Кедровым поговорю? Замечательный старик! — И, помолчав, добавил: — Большевик!

Взволнованные, они оба задумчиво смотрели на синие звезды, мерцавшие между лапчатыми ветвями елей и сосен.

Глава XXVIII

СЛОВО-КЛЯТВА

Это был последний привал батальона перед выходом на исходный рубеж. Еще малый переход, и кончится Большой Ломоватый бор, а за его западной опушкой — фашисты.

Предрассветная белесая муть окутала лес. Бойцы наскоро привели в боевой порядок вооружение и повалились на снег. От усталости и бессонной ночи ныло всё тело, слипались глаза.

Матросов, пошатываясь от переутомления и дорожа каждой секундой, вытоптал себе ямку под старой елью, бросил туда несколько еловых веток и лег, подложив под голову вещевой мешок. Было зябко. Он втянул шею в поднятый ворот шинели и, чтоб скорее согреться, свернулся в калачик, как в детстве. По телу разливалась ноющая истома, и сразу же сладостная дрема сомкнула веки.

Он, кажется, крепко уснул, но его разбудил знакомый голос комсорга:

— Комсомольцы, вставай! Живенько — на собранье!

«Снится или взаправду?» — в полусне думал Матросов. Неодолимое желание продлить сон еще хоть на секунду покорило его, и, забыв обо всем, он опять крепко заснул.

Но неусыпная сила сознания, что довела его и до этого привала, помогла ему через несколько секунд открыть отяжелевшие веки. «Меня ведь это зовут. Итти надо. Надо».

Разминая ноющее и будто свинцом налитое тело, он поднялся. Зябкая дрожь пронизывала его всего. Болели ступни ног, болел каждый сустав. Нестерпимо надоел уже постоянный холод, и опять кругом снега, снега, снега.

Поодаль в серой мгле среди деревьев он разглядел группу людей. Туда же подходили комсомольцы, поеживаясь от холода и дивясь такой ранней поре собрания.

— Мать честная! — потирал руки Воронов. — Совсем память проспал и забыл: мы ведь именинники! Двадцать третье февраля. Двадцать пятая годовщина Красной Армии. Может, потому и собрание: именинникам подарки дадут.

— Верно, Мишка, — сказал Матросов, уже подтянутый и бодрый, — завтра великий праздник. Только я так понимаю: не нам подарки, а от нас полагается подарок матери нашей Родине. Верно?

— Так выходит, — ответил Дарбадаев. — Верно.

Подошли комроты Артюхов, парторг Кедров и комсорг Брагин. Все притихли. Артюхов, как всегда аккуратно затянутый ремнями, выступил вперед и обратился к собравшимся:

— Товарищи, завтра двадцать пятая годовщина героической нашей Красной Армии. Она отстояла наше молодое государство в великих боях гражданской войны. Она, как нерушимая скала, четверть века стоит на страже нашей Родины. И теперь в жестоких боях изгоняет врага, посягнувшего на священную нашу землю.

Артюхов сдвинул на лоб шапку-ушанку и быстрым взглядом окинул бойцов.

— Нам выпала великая честь — ознаменовать славную годовщину нашей армии боевыми делами. Товарищи, я имею важный приказ командования. Рота автоматчиков должна занять деревню Чернушки, и для выполнения этой ответственной задачи мы выступаем через несколько минут.

Матросов и Дарбадаев переглянулись: «Вот и подарок Родине!»

— Я уверен, — продолжал Артюхов, — что все трудности, какие возникнут перед нами, мы преодолеем и приказ выполним. Враг считает, что места эти непроходимые, а мы их прошли. Гитлеровцы настроили тут разных укреплений и думают, что они неприступны, а мы их

опрокинем. Деревню Чернушки во что бы то ни стало надо взять, и мы ее возьмем! Мы возьмем любые крепости, потому, что мы — солдаты сталинской закалки!

Артюхов подчеркнул, что только быстрота, молниеносный удар обеспечат успех операции.

— Надеюсь, что коммунисты и комсомольцы и в этих боях, как всегда, будут служить примером для всех! — закончил он.

Командиру роты, конечно, было известно больше, чем он сказал. Успешное наше наступление под городом Локня и выход на железнодорожную линию Локня — Насва открывали широкий оперативный простор.

Но первое большое препятствие перед батальоном — деревня Чернушки.

— Ну, кто хочет сказать? — спросил комсорг Брагин.

Матросов считал, что на собраниях он всегда горячится, говорит нескладно, и неохотно выступал. Но на этом собрании выступил одним из первых. Он сказал то, о чем много раз думал. Слова искать долго не приходилось. На дорогах войны он видел много руин и людского горя. Он с этого и начал, выйдя в круг:

— Что ж тут говорить? . . За что фашисты убивают наших людей? За что?

Он помолчал. Поправил на груди автомат. Посмотрел на сидящих и стоящих бойцов, сурово сдвинул к переносью брови, и глаза его зажглись гневом.

— Только за то враги убивают нас, что мы — русские, советские, что любим нашу землю, свою Родину. Великая правда озарила наш созидательный, вдохновенный труд, нашу счастливую жизнь. Рабство и смерть несет нам враг. Значит, священная наша обязанность — беспощадно бить врага, освободить от него родную землю.

Он еще подумал, переступил с ноги на ногу, крепче сжал автомат и продолжал раздельно и взволнованно, точно произнося присягу и запоминая каждое слово:

— Пришел наш час, и мы отомстим врагу за все муки наших людей. Приказ командования мы выполним. И за нашу Родину, за наш народ я буду бить врага по-комсомольски, буду бить, пока руки мои автомат держат, пока бьется мое сердце. Верьте совести, товарищи, драться буду, презирая смерть.

— Верно сказал, — послышались голоса.

После собрания его окружили товарищи. Обычно холодновато-насмешливые, глаза Воронова заблестели, когда он крепко сжал руку Матросова:

— Саша, хорошо ты сказал! Мне даже вспомнилось: «И сердце его пылало так ярко, как солнце. . .»

Матросов оживился.

— А ты слышал, почему полевой мак цветет? — и обветренное лицо его посветлело.

— Ты рассказывал в землянке.

— Тише, — шепнул Матросов, показав глазами в сторону.

Под ветвями огромной ели, как под шатром, шло партийное собрание.

Парторг Кедров, выпрямившись, читал заявление Михася Белевича:

— «Партия Ленина — Сталина ведет народ к победе, и я хочу в бой итти коммунистом. . .»

— Молодец Михась! — шепнул Матросов.

Парторг сам дал Белевичу вторую, недостающую, рекомендацию. И хотя теперь дорога была каждая минута, партбюро поставило вопрос о приеме Белевича на общем партсобрании.

Он был принят единогласно.

Когда двинулись на исходный рубеж, подул предутренний ветер. С деревьев падали комья снега.

Бойцы шли молча, вслушиваясь в отдаленный орудийный гул. Под ногами монотонно хрустел снег, и сами бойцы теперь в маскировочных халатах белели, как снег.

Дарбадаев шел за Матросовым. Человек большой физической силы, он завидовал внутренней собранности и душевной силе друга. Дарбадаев чувствовал потребность поговорить с ним.

— Ты вот на собрании сказал, Сашутка: «Пока бьется сердце. . .» — сильно сказал. — А если, к примеру, танк на тебя одного пойдет?

— Ну, что ж? И танк человек сделал. Значит, человек и сильней. Постараюсь подшибить танк, вот и всё.

— Так-то оно так. А если не подшибешь?

— Глупости говоришь! — нахмурился Матросов. — «Если» да «если», — хоть «распроесли», а не убегу. Придумаю что-нибудь, выстою. Да я понимаю, Михаил, куда ты клонишь. Думаешь, мне жить не хочется? Чудак! Да я очень хочу жить. Сам прикинь: меня ждут Лина, Тимошка, учиться я хочу. . . Да что толковать? По-настоящему только начинаем жить-то. Помню, говорили мне, что человек будет управлять даже ветрами и тучами. Понимаешь, как это интересно? Я, может, инженером буду. . .

— А я хочу агрономом, — сказал Антощенко. — У нас такая земля жирная, родючая, що коли умело обработать ее, — весь мир пшеницею засыплем.

— А как твоя нога? — тихо спросил Матросов.

— Молчи, Сашко. Часом так больно, що в глазах мутится. А я тут як сгадаю про Лесю и дидусю, то и не чую в ноге боль. В душе больней.

— Ничего, Петрусь, крепись. А ногами своими ты и до Берлина еще дойдешь.

Рота автоматчиков шла впереди колонны.

Комроты Артюхов чувствовал приближение важных событий. Ему был нужен в бою расторопный и смелый

связной. Он решил взять Матросова, который понравился ему еще на станции Земцы.

По душе командиру роты и выступление Матросова на комсомольском собрании.

Артюхов посоветовался со старшиной, и тот одобрил его выбор.

— Гожий вполне, — вся рота любит его.

— Вызвать его ко мне!

— Слушаюсь!

Матросов шел впереди автоматчиков. Кедров хотел сам передать приказание ротного и догнал его.

— К ротному, живо! . . С повышением тебя.

— С каким, товарищ старшина?

— Иди, иди, узнаешь. — И усмехнулся: воинский устав обязывал называть бойца по фамилии и говорить ему «вы», а он, Кедров, никак не мог привыкнуть говорить этому безусому пареньку «вы».

Матросов сошел с тропы и остановился, поджидая ротного.

Артюхов, подходя, разглядел его:

— Матросов?

— Я, товарищ старший лейтенант.

— Будешь моим связным. Иди за мной.

— Есть итти за вами!

На рассвете батальон вышел на опушку Большого Ломоватого бора. За поляной начинались вражеские укрепления.

Глава XXIX

БОЙ ЗА ЧЕРНУЮ РОЩУ

В серой рассветной мгле комбат Афанасьев, комроты Артюхов и его связной Матросов увидели за поляной в заснеженных кустарниках холмы дзотов и густо нагроможденные по опушке Черной рощи снежные глыбы, имеющие форму треугольников, обращенных острием к поляне. Правее, где разведгруппа была в ночном поиске, таких сооружений не было. Афанасьев разгадал их назначение. За этими неуклюжими ледяными глыбами были скрыты огневые точки врага.

Разведчики доносили, что дзоты были и перед деревней Чернушки.

Кругом стояла зловещая тишина. Противник либо еще не заметил передвижения наших подразделений, либо заметил, но выжидает выгодной для себя минуты, чтоб разом обрушить огонь всей своей лесной крепости на наших людей.

Комбат Афанасьев недовольно морщился. Батальону приказано взять деревню Чернушки с хода на рассвете, а уже начинало светать. Время может быть упущено. А пушки застряли где-то в болоте, и не все подразделения еще вышли на исходный рубеж. Медлить нельзя ни минуты. И комбат принял смелое и рискованное решение — напасть на противника внезапно и стремительно ворваться в Черную рощу. Затем подавить с тыла расставленные по опушке рощи огневые точки противника и двигаться дальше к деревне Чернушки.

Автоматчики, готовые каждую секунду вступить в бой, тихо и настороженно двинулись за боевым охранением вперед по узкой поляне, а за ними потянулись другие подразделения. Чтоб лучше руководить боем, с автоматчиками шел и командир батальона Афанасьев. Ноги увязали в глубоком нетоптанном снегу. Невзначай можно было напороться на минное заграждение. А комбат молча всё махал рукой, торопил: «Скорей, скорей!»

Люди ускорили шаг. Автоматчики уже подошли к кустарникам, пересекая поляну.

Но вдруг впереди лихорадочно застучал пулемет, взвилась ввысь ракета, заливая поляну бледнозеленым мертвенным светом. И сразу кругом поднялся оглушительный грохот. Частые ослепительные вспышки возникали кругом; пули, осколки мин и снарядов, трассирующие пули, казалось, летели со всех сторон.

Фашисты, видно, не ждали наступления на этом участке фронта, защищенном многокилометровыми лесами и болотами. Они подняли тревогу лишь в тот момент, когда наши автоматчики приблизились к их дзоту. Зато теперь ошалело заработала вся их сложная система огня. По вспышкам было видно, что ожили и неуклюжие треугольные сооружения.

Где-то совсем близко слышались возгласы врагов:

— Ауф! Ауф! [1] — приказывал один.

— Цетер! [2] — взвизгивал другой. — Цетер! О, майн готт, цетер!

Третий командовал твердым голосом:

— Цу мир! .. Фор! Фор! [3]

— Скорей! Скорей! — уже кричал комбат Афанасьев.

Громкое «ура» смешалось с грохотом взрывов. Автоматчики ворвались в Черную рощу.

Огонь усиливался с каждой минутой. Особенно бушевал он позади вышедших на поляну подразделений.

Тут, на болотной низине, не было траншей и обычного расположения боевых порядков противника. Судя по огню, вдоль поляны полукругом густо насажены дзо-

---

[1] А у ф! — Встать!
[2] Ц е т е р! — Караул!
[3] Ц у м и р! Ф о р! — Ко мне! Вперед!

ты и снежными глыбами возвышающиеся треугольники, из-за которых били пулеметы.

Командир батальона быстро разгадал замысел врагов. Отсечным огнем они хотели отделить от остальных ворвавшиеся в рощу подразделения и, отрезав им путь к отступлению, уничтожить.

Комбат приказал командиру роты автоматчиков Артюхову быстрее втягиваться в рощу, расширяя ворота прорыва. А сам со стрелковой ротой стал продвигаться рощей вправо.

Оставшаяся группа во главе с Артюховым быстро приняла боевой порядок.

Матросов бегал по роще и поляне, передавая приказания Артюхова командирам взводов, минометчикам. Раньше он много думал и готовился к опасностям и преодолению страха. После ночного поиска он уже считал себя обстрелянным, бывалым. Но здесь в первые минуты его снова потряс оглушающий грохот боя, и было опять так страшно, что подкашивались ноги и сами несли в сторону. Гулкое лесное эхо многократно повторяло каждый звук, и винтовочный выстрел казался пушечным. А вокруг, зловеще свистя, всё еще пролетали снаряды, от взрывов которых подпрыгивала земля, часто рвались мины, огненными разноцветными струями проносились трассирующие пули. Но теперь Матросов увидел, как хладнокровно работали в бою, именно работали, бывалые солдаты, и овладел собой.

— Оглушай «лимонкой» и выковыривай их оттуда! — кричал кому-то Кедров неузнаваемо строгим басом, окружая с группой автоматчиков один из треугольников; и голос его звучал властно, по-хозяйски.

И Матросов, подражая во всем бывалым солдатам, делал перебежки, залегал, вскакивал, бросал гранаты и расчетливо посылал автоматные очереди. Лицо его стало бледносерым, брови гневно сдвинуты, глаза презрительно сощурены, движения уверенны. Он заслонял огнем командира роты, чтоб тому свободнее было командовать.

Автоматчики отбивали треугольники один за другим и втягивались в рощу. Все понимали: в этом жестоком бою они сами хозяева своей судьбы. Смерть, обступившую вокруг и витающую над головами, можно победить только хладнокровием и стойкостью. И люди дрались упорно и сосредоточенно.

Утром Артюхов уже хорошо знал вражеские укрепления. Треугольники, сложенные из бревен в две стены, внутри стен и снаружи засыпаны землей, а зимой обложены снегом, который был полит водой и превратился в лед. А на каждой высоте, метров через пятьдесят, стояли дзоты. Дзоты были и за рощей, на подступах к деревне Чернушки. Это была лесная крепость со сложной системой огня — одно из сильных укреплений врага на Калининском фронте.

И вот, когда фашисты уже были выбиты из нескольких дзотов и треугольников, в самый разгар боя был ранен Артюхов. Пуля пробила правую кисть руки, и пистолет упал на снег. Но Артюхов левой рукой зажал правую выше простреленной кисти и продолжал руководить боем.

— Разрешите, перевяжу! — предложил Матросов.

— Курташова ко мне! — не слушая связного, приказал Артюхов, глядя в сторону.

Матросов побежал по опушке рощи к минометчикам. Увидел в кустах сандружинницу Валю,— она забинтовывала голову автоматчику, — сказал, чтобы она скорее сделала перевязку командиру роты. А когда с Курташовым вернулся к Артюхову, за ним уже гонялась Валя.

— Разрешите, — упрашивала она, — а то заражение, гангрена!

Артюхов быстро повернулся к Курташову:

— Подави мне скорее вон те огневые точки.

— Слушаюсь!

— Ну, разрешите, перевяжу, — просила Валя.

— Постой, постой! — увертывался от нее Артюхов и, будто забыв о ране, из которой лилась кровь на одежду, на снег, делал указания, пока Курташов с минометчиками устанавливал минометы. — Снег разгреби, чтоб лучше плита легла. Живей, живей!

«Неужели ему не больно? — дивился Матросов. — Терпит».

— Расчеты — к бою! — торопливо командовал Курташов. — По пулемету! Заряд основной. Угломер тридцать два сорок. Прицел шесть ноль-ноль. О готовности доложить!

Матросов смотрел на возбужденные глаза Артюхова, и ему казалось, что команда Курташова очень длинна.

— Первый! — отозвался командир первого миномет-

ного расчета и, повторив всю команду Курташова, крикнул: — Готов!

Так же заявил о своей готовности и командир второго расчета.

«Как они долго, как долго!» — думал Матросов.

— Первому! — командовал Курташов. — Одна мина — огонь!

Мина не долетела до треугольника, откуда бил пулемет. Курташов волновался:

— Прицел шесть двадцать!

— Разрешите перевязать, — с бинтом в руке топталась Валя около Артюхова, не обращая внимания на пролетающие пули и осколки. Но Артюхов следил за полетом второй мины Курташова и довольно усмехнулся, увидев, как мина рванула снег у самого треугольника.

— Стрелять взводом! — повеселел Курташов. — Три мины, беглый огонь!

Мины подавили точку.

— Давай огонь туда! — указал Артюхов Курташову и сам теперь протянул Вале простреленную руку, устало садясь на пень. Но тут же заметил, как из рукава шинели у Курташова потекла кровь, и нахмурился.

— Скорей перевяжи ему! — со злостью сказал он. — Ишь, разгорячился, не замечает.

Курташов, обычно тихий, застенчивый и неуклюжий, теперь, как ветер, метался от миномета к миномету и, когда к нему подошла сандружинница, закричал на нее, сверкая глазами:

— Не путайся тут! Не на танцах.

Тогда на него строго крикнул Артюхов:

— Чего петушишься? Ишь, прохлаждался тут, как на бульваре! Не берегся, пока не ранило. Пусть перевяжет.

Курташов сердито глянул в глаза Артюхова. Не берегся? Он мог бы этот упрек вернуть самому Артюхову, но вытянулся и хотел вскинуть руку ко лбу.

— Слушаюсь, — сказал он, а руку так и не мог поднять. Перебитая выше локтя, она болталась, как плеть. Весь пронзенный острой болью, охнув, он тихо опустился на колено.

Матросов успел поддержать его. Сандружинница, перевязывая, сказала, что должна эвакуировать раненого.

— Куда? — злобно спросил Курташов. — Что я — из

госпиталя добирался сюда, чтоб только сутки повоевать и опять в госпиталь?

— Оставь его пока, — сказал Артюхов Вале. — Всё равно некуда эвакуировать.

Курташов продолжал свою работу. Иногда он ложился на снег, минуту лежал в оцепенении, потом снова вскакивал и опять командовал.

Бой продолжался весь день. К вечеру было подавлено десятка два огневых точек, враги вытеснены из половины рощи. Но теперь невозможно было продвинуться ни вперед, к Чернушкам, ни назад, к бору, на соединение с остальными подразделениями батальона, отрезанными бушующим на поляне огнем.

Уже накапливались раненые, кончались боеприпасы, а фашисты всё усиливали огонь, видно, готовясь к атаке.

Глава XXX

СПАСТИ КОМБАТА

Вечером фашисты начали атаку. Днем они, видимо, собирались с силами, подтягивая подкрепления. Зато теперь с лихорадочной торопливостью ошалело лезли со всех сторон, окружая ворвавшиеся в рощу подразделения батальона. Местами красноармейцы отбивались врукопашную, дорожа каждой пулей, каждой гранатой, которые были на исходе.

Порывистый, горячий капитан Афанасьев не мог усидеть на командном пункте и неожиданно появлялся в разных местах рощи, руководя боем. В людях он уверен, но его подавляла ответственность: приказ пока не только не выполнен, но под угрозой гибели была бо́льшая и лучшая часть его батальона.

Он подошел к Артюхову посоветоваться. С виду он был спокоен, но вздрагивающие белые губы выдавали его волнение.

— Рощу я обратно не отдам, но к нашим надо скорей пробиться. Как думаешь?

— Если рощу держать. . .

— А как же? — вспылив, перебил его капитан, отрезая всякую возможность колебанию. — Роща — теперь лучший плацдарм к броску на Чернушки.

— Я и говорю, — ответил, поморщившись, Артюхов: — если рощу держать, нельзя отвлекать людей на прорыв обратно: противник сильно жмет. Надо скорей установить живую связь.

Пули просвистели над головами.

— Что такое? — удивился Афанасьев, глядя на царапины, прочеркнутые пулями на коре осины. — Сверху откуда-то бьет.

— Очевидно, с колокольни, что за Чернушками, в деревне Черной, — сказал Артюхов. — Надо живую связь во что бы то ни стало. Пусть четвертый батальон ударит слева. Тут легче пробить брешь.

— Но кого послать?

Матросов вскинул руку к ушанке:

— Мне разрешите, товарищ комбат. Я проберусь.

Командиры переглянулись.

— Ты мне нужен, — сказал Артюхов.

— У меня своих молодцов хватит, — сказал капитан и поспешно ушел, услышав учащенную стрельбу в другом конце рощи.

А через несколько минут к Артюхову прибежал запыхавшийся связной Афанасьева в изодранном осколками маскировочном халате.

— Разрешите доложить... тяжело ранен комбат: в бок и бедро.

Артюхов мучительно скривился.

— Жив? — почти крикнул он.

— Жив, но сразу упал, хрипит, — говорил связной всё тише и, бледнея, клонился набок. — Фашисты наседают, — с трудом выговорил он и упал лицом в снег. Теперь видна была его окровавленная спина.

— Возьми двух автоматчиков, — приказал Артюхов Матросову. — Беги туда. Спаси комбата во что бы то ни стало.

— Есть спасти комбата!

Когда Матросов, Воронов и Антощенко бежали к раненому Афанасьеву, туда же впереди их бежала и везде успевающая Валя Щепица.

Но вот между ними и Валей разорвался снаряд, и она потонула в вихрящемся облаке дыма. Только взвилась вверх, как оторванное крыло птицы, пола ее шинели.

Автоматчики на секунду остановились: их испугала мысль о гибели веселой краснощекой песенницы.

— Валя, Валя! — со страшной силой крикнул Костылев, не смея покинуть занимаемую позицию. Крикнул с неясной надеждой, что она отзовется.

Но внимание автоматчиков отвлекло другое событие.

Фашисты нажали с фланга и стали теснить взвод Дубина. Автоматчики побежали на помощь. И неожиданно в дыму показалась во весь рост Валя Щепица. Взмахнув чьим-то автоматом, она закричала:

— За мной, вперед! — И, перебегая от дерева к дереву, от куста к кусту, она стреляла, падала, стреляла лежа, опять бежала и стреляла из-за дерева, взъерошенная и юркая.

Но впереди Вали, слева, уже строчил из автомата Костылев, время от времени поглядывая на нее.

Матросов, Антощенко и Воронов обогнали Валю и вместе с другими автоматчиками погнали врагов назад. Тогда Матросов и крикнул ей, чтоб скорее делала перевязку комбату.

И будто очнувшись от забытья, сандружинница тряхнула опаленной челкой и побежала к Афанасьеву.

— Отбили? — хрипло спросил он, тяжело дыша.

— Отбили, товарищ капитан.

— Орлы, — пошевелил он желтеющими губами.

Но похвала не радовала ее. Раны у комбата тяжелые и опасные. Кровью смочены одежда и снег под ним.

Валю терзало противоречие: она считала себя преступницей, что не сразу принялась за перевязку, а сгоряча побежала с автоматом, но было бы еще хуже, если бы сюда прорвались враги.

К ней подбежал Матросов и помог втащить комбата в воронку.

Перестрелка опять приближалась. Десятка два вражеских солдат пробивались правее автоматчиков. И на секунду посветлело лицо Матросова, когда он увидел, что Антощенко по-оленьи быстро перебежал от сосны к сосне и точной автоматной очередью скосил четырех фашистов. «Да у него ж нога почти до кости растерта»...

К Антощенко пробрались Воронов и Костылев. Но фашисты стали окружать их. Матросов поспешил к друзьям.

— Держись, ребята! — крикнул он и, прислонясь к дереву, дал из автомата очередь одну, другую.

Несколько вражеских солдат упало, остальные скрылись в густом кустарнике.

У Антощенко росинками покрыла лоб испарина. Подбородок его дрожал в такт автоматной дроби. Матросов усмехнулся:

— Так их, Антошка! Пришла наша работа.

— Даю им жару, — сквозь зубы ответил тот.

А вражеские пули пролетали всё гуще. И всё чаще шевелились кусты ольшаника, где накапливались гитлеровцы. Их уже было в несколько раз больше автоматчиков.

— Держись, братки! — повторял Матросов, и те держались, не отходя ни на шаг.

Со стороны Большого Ломоватого бора послышалось, наконец, долгожданное грозное «ура». То пробивался на помощь четвертый батальон. Фашисты ослабили нажим на рощу.

— Вытащим теперь комбата из полосы огня, — сказал Матросов и вместе с Вороновым под огнем потащил по снегу лежавшего на спине Афанасьева.

В безопасном месте Матросов сдал комбата сандружиннице и вернулся к Артюхову.

Жизнь комбата была отвоевана.

Артюхов принял командование батальоном и руководил боем. Теперь у него слева был надежный сосед — четвертый батальон. Фашистов за ночь выбили из Черной рощи и прогнали за открытую лощину. Но со стороны Чернушек автоматчики были встречены таким плотным огнем, что открытую лощину пересечь было невозможно, и они закрепились на западной опушке рощи.

На рассвете Артюхов увидел за лощиной заваленные снегом стоящие по полукругу три мощных немецких дзота. За дзотами на пригорке виднелась деревня Чернушки, вернее, то, что осталось от нее, — две-три разбитые избы. Но пробиться к деревне было трудно. Амбразуры дзотов изрыгали такой яростный огонь, поливая поляну пулями, что дальше двигаться было невозможно. Наступление приостановилось.

Глава XXXI

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!

Над заснеженными верхушками леса взошло солнце. Дохнул морозный легкий ветерок, затрепетали позолоченные солнцем тонкие завитки коры на стволах сосен. Золотистые лучи пробивались всё ниже сквозь облепленные снегом лапчатые ветви обомшелых сосен и елей и ложились на снегу светлоголубыми пятнами. Синий в лесной тени, снег на поляне уже искрился и слепил глаза сверкающей белизной. Предутренний снегопад прикрыл следы минувшего боя.

Матросов и в это минутное затишье уже ненасытно глядел вокруг удивленно-пытливыми глазами на волнующую красоту зимнего лесного утра. Ему хотелось, как всегда, всё приметить, узнать. Он вспоминал и не мог вспомнить, — кто же из художников изобразил зимний лес таким, каким он его видел в эту минуту? «Все музеи осмотрю, а дознаюсь обязательно».

Поеживаясь от холода, он усмехнулся: две желтозобые синицы сели на сосне совсем рядом, сдунув крыльями снежную пыль, и, испуганно оглядевшись, начали бойко цвикать, перекликаясь.

«Смелые пичужки».

Но, взглянув на суровое, озабоченное лицо Артюхова, на его раненую руку, Матросов сразу сам нахмурился, сдвинул брови.

Артюхов, лежа на снегу, неловко опирался на локоть, левой рукой приподняв забинтованную кисть. Намок-

ший от крови бинт обледенел. Матросов подивился терпению командира, который будто и не замечал своей раненой руки.

— Товарищ комбат, разрешите, я скоренько вам перевязку сделаю, — предложил Матросов. — У меня есть индивидуальный пакет. А то еще гангрена или...

— Не до нежностей! — сердито проворчал Артюхов. Боль всё острее жгла его застуженную рану. Перевязка нужна. Но во сто крат мучительнее сознание невыполненного боевого приказа. Артюхов нарочно и выполз сюда на самую опушку рощи, чтоб лучше разглядеть укрепления противника. Он неотрывно смотрел сквозь кусты на огромные снежные холмы, под которыми легко угадывались три больших вражеских дзота на подступах к деревне Чернушки. Это их бешеный огонь мешал продвижению. Дзоты сейчас молчали и были похожи на безобидные сугробы или снежные горки, с которых на салазках катаются детишки.

Артюхов стиснул зубы от щемящей обиды: вот они перед носом, проклятые дзоты. Пушкой в пять минут можно бы разбить их прямой наводкой. А батальон вторые сутки из-за них пройти не может. При малейшем движении наших бойцов дзоты покрывают огнем всю поляну, где ими пристреляна каждая точка. А подавить дзоты нечем. Пушки, видно, и теперь всё еще тащат к линии фронта, одолевая лесное бездорожье. Вызвать на дзоты огонь наших дальнобойных батарей нельзя: слишком сближены с противником наши боевые порядки. А враги зловеще умолкли; видно, готовят контратаку или подтягивают подкрепления.

Артюхов повернул исхудалое за эти дни лицо:

— Матросов, живо узнай у начштаба, — может, подтянули хоть одно орудие.

— Есть, товарищ старший лейтенант,— ответил связной и пополз назад. Он чуть задел ветку, с нее полетели хлопья снега, и сразу же гулко застукал вражеский пулемет, захлопали в ветвях разрывные пули. Желтозобые синицы сорвались с веток. Одна упала на снег, другая заметалась меж сосен. Матросов на минуту прильнул щекой к снегу. Потом пополз, поглубже врываясь в снег и стараясь не задевать веток.

Скоро он вернулся. Нет, ни одного орудия не подтянули и едва ли скоро подтянут.

— Еще начштаба докладывает... звонил «хозяин», очень сердится и требует, чтобы скорее мы выполнили боевой приказ. Говорит, что мы задерживаем весь ход наступления.

Артюхов поморщился, кусая губу. Матросов смотрел на любимого командира, хотел помочь ему и не знал как.

Выдержанный офицер Артюхов теперь заметно нервничал, не находя выхода. Он добровольно принял на себя командование батальоном, когда был тяжело ранен комбат Афанасьев; принял, как велела офицерская честь. Но тем важнее сохранить эту честь теперь, когда с наибольшей пользой для дела он должен выполнять свою новую роль командира батальона.

Матросов выжидающе смотрел на командира. Связной, как и все бойцы, был уверен в его опытности и знал, что зря он не пошлет на погибель ни одного человека.

Артюхов избегал смотреть в глаза связному, который не раз слышал, как он говорил подчиненным, что безвыходных положений нет. Что ж ему придумать, чтобы с наименьшими потерями и скорее выполнить приказ?

Командир батальона, наконец, принял решение. Он приказал штурмовым группам автоматчиков подавить сначала фланговые дзоты: они ближе среднего дзота, и к ним кустарниками легче добраться. Атаковать сперва левый дзот и, когда противник сосредоточит здесь огонь, рывком броситься к правому, а потом штурмовать центральный дзот.

Но едва бойцы двинулись к левому дзоту, как сразу же опять застучали пулеметы всех дзотов.

Матросов теперь с волнением смотрел, как по снегу в кустарнике ползли автоматчики его роты. Некоторые из них недвижно замирали на снегу, остальные всё быстрее ползли, ползли. Вот Щеглов и Суслов вскочили, перебежали под огнем несколько метров, упали. Потом снова, несмотря на шквальный огонь, продвигались вперед короткими перебежками, будто вперегонки. За ними следовали другие автоматчики. Почти у самого дзота Суслов взмахнул автоматом и упал. Но Щеглов уже подбежал к дзоту сбоку и бросил в его амбразуру гранату. Поднялся и раненный в ногу Суслов. Сильно хромая, он взобрался на дзот и бросил гранату в дымовую

дыру. На дзот вскочил и Щеглов. Они о чем-то кричали бойцам, окружавшим дзот.

Матросов не выдержал; когда увидел в дыму на умолкшем дзоте Щеглова и Суслова, взмахнул варежкой:

— Молодец комсомол! Здóрово, братки!

Усмехнулся и комбат, кривя губы.

Левый дзот умолк, но бойцы залегли под бушующим огнем.

Артюхов приказал штурмовать правый дзот.

Матросов встал на колени; глаза его горели. Ему хотелось туда, в бой. После того как он отбил от фашистов раненого капитана Афанасьева и сам видел, как враги падали от его пуль, им овладело чувство солдатской удали, отваги, его не покидало приподнятое настроение. Когда бой затянулся у правого дзота, он не вытерпел:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите мне туда, — кивнул он на дзот. — Там надо бы перебежками в обход...

— Сиди, не кипятись, — строго ответил Артюхов. — Мне нужен будешь.

Но вот несколько бойцов сделали именно так, как думал сделать Матросов: перебежками обошли дзот справа, забросали его гранатами. Через минуту бойцы уже овладели дзотом. Быстрота и ловкость обеспечили успех в эту решающую минуту.

С бешенством обреченного неистовствовал только центральный дзот. Этот дзот имел три амбразуры и бил одновременно по фронту и флангам. Он не давал продвинуться вперед нашим бойцам. Группа лейтенанта Кораблева несколько раз поднималась на штурм дзота, но бешеный огонь его косящим свинцовым веером покрывал поляну и валил людей, едва они успевали сделать несколько шагов.

За час бойцы продвинулись кустарниками всего на несколько метров. Теперь их отделяла от дзота всего метров на полсотни снежная поляна, где была пристреляна каждая пядь.

Двигаться дальше было невозможно и на месте оставаться нельзя. Каждая секунда промедления уносила человеческие жизни. Но не отступать же! Нет, отступление теперь было бы равно позорной смерти. Ярость бойцов

усиливалась. Они еще и еще раз кидались в атаку. Но, неся тяжелый урон, снова падали и залегали на снегу.

Артюхов, разгорячась и забыв про опасность, пополз в кустарнике вперед, правее залегших бойцов группы Кораблева, чтоб лучше изучить картину боя. За ним следом пополз и его связной Матросов. Они залегли за старой обомшелой елью. Дзот уже близко. Хорошо видны его амбразуры, изрыгающие огонь.

Трудно Артюхову что-нибудь придумать. Он убедился, как тяжело брать эту лесную крепость. Всё чаще била вражеская артиллерия, и снаряды ложились всё ближе. За деревней Чернушки поодаль была видна деревня Черная, и оттуда, из двери церкви, била пушка, а с колокольни строчил пулемет.

Артюхов чувствовал возрастающую ответственность за исход операции, за судьбу лежащих под огнем людей.

А минуты текли, время шло, и росла угроза: если приказ сейчас не будет выполнен, — пропадет весь смысл трудного похода, боевых усилий батальона, и эта неудача и напрасная гибель людей может повлечь целую цепь неудач по фронту.

Всё небо было заполнено гулом летящих наших эскадрилий. Вторые сутки журавлиным треугольным строем летели и летели они на запад. Всё время слышны с вражьей стороны раскаты их бомбежек. И слышен впереди справа и слева громовой говор наших «катюш» и многочисленных орудий... Этот неумолчный гул постепенно отдалялся, — значит, наша техника огнем своим всё крушила и сметала на своем пути и наступление развивалось. А под Чернушками — заминка, тупик.

Командир батальона нервно кусал губу, прислонив разгоряченный висок к обледенелой коре ели. Может, его решения ждали штабы дивизий, армий, ждал Кремль? А решения нет, и каждая секунда промедления несла неотвратимую и непоправимую опасность. Что делать?

Матросов понимающе пристально смотрел на командира и с замиранием сердца ждал его распоряжений. Если бы только мог он помочь чем-нибудь этому отважному человеку!

Артюхов принял решение.

— Шесть автоматчиков — ко мне! — коротко сказал он связному.

Матросов кинулся выполнять приказание. Он еще не

понимал смысла нового приказа, но его уже обрадовал твердый голос командира, его ободряющая решимость.

Примечая, куда летят и где хлопают разрывные пули, Саша ползком и перебежками быстро и ловко добрался до бойцов.

— Ну и жара, хлопцы! Прямо, как ящерка, от пуль увертывался.

И в который уже раз вслух с благодарностью вспомнил трудные тактические учения в Земцах. Хорош бы он был тут, под огнем, без той спасительной выучки!

Он хорошо знал людей своей роты и решил отобрать самых умелых и храбрых, коммунистов и комсомольцев. И принято ведь так, что в самых трудных случаях боя командиры говорят: «Коммунисты и комсомольцы, вперед!» Но когда отбирал самых лучших, произошла минутная заминка.

— Куда, Сашко? — спросил Антощенко, обиженный, что его не выбрали.

— На особое задание.

— Ну, а я ж, по-твоему, — инвалид чи що? Бери и меня.

— Нельзя, Петро: у тебя нога ранена.

— Та чи ты сдурел? — вспыхнул Антощенко. — Я тими ногами ще до Берлина дойду.

— Понимаешь, нельзя, — строго ответил Матросов, досадуя, что тратит время на разговоры.

— Так друг же ты мне чи не друг? — почти крикнул Антощенко, и злые слезы блеснули в глазах.

Матросов пристально взглянул на него и понял его неутолимую, жгучую жажду мести за Лесю, за деда, за Украину. Это она, месть, давала ему силы терпеть боль. Что ж, он достоин быть избранным в число шести.

— Ладно, Петро, беру, — отрывисто сказал Матросов, отчего Антощенко улыбнулся:

— Добре, Сашко. Я буду по-комсомольски...

Потом стали требовать Воронов, Дарбадаев, чтоб Матросов взял и их.

— Не могу, — рассердился тот. — Приказано только шесть...

Артюхов напряженно ждал, считая секунды. И когда автоматчики подползли к нему, он приказал троим:

— Подползите к дзоту вон там, справа, и гранатами — по амбразуре...

— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил Михась Белевич и пополз впереди Костылева и Антощенко.

Бойцы из штурмовой группы Кораблева, готовые каждый миг ринуться вперед, затаив дыхание смотрели на ползущих троих товарищей и ждали. Туда же, на друзей, с волнением смотрел и Матросов. Справа и уже впереди всех полз Костылев, быстро загребая руками, в середине — Петро Антощенко. Он полз, опираясь больше на колени и приподнимая ступни: нога, видно, причиняла ему острую боль. Но вот Костылев взмахнул автоматом и замер на снегу. Антощенко покосился на него и поспешно пополз дальше. Склонив голову в снег, остался недвижен и Белевич. Теперь полз один Антощенко. Он торопливо забрасывал вперед руки и полз то вправо, то влево, видно, обманывая пулеметчика, и приближался к дзоту.

Матросов ежился от ледяного холодка, охватывающего, казалось, самое сердце, и ему хотелось всю свою силу влить в каждое движение друга.

Но вот и Антощенко как-то неловко завалился на правый бок, взмахнул рукой, как пловец для нового броска в волны, — и замер. Рука упала на снег.

«Петро, Петро!» — мучительно сморщился Матросов, крепко стиснув зубы, чтоб не крикнуть.

Теперь все три бойца в светлых маскировочных халатах недвижно лежали на чистом снегу, окрашивая его кровью.

Смолк и вражеский пулемет, будто выжидая.

Артюхов на секунду закрыл глаза, скривился: тяжким камнем ложилась на сердце ответственность за жизнь каждого человека, а люди у этого дзота пока гибли зря. И миновать нельзя это проклятое место.

Но бледное лицо Артюхова сразу же опять приняло упрямое выражение, Он повернул голову к ожидающим троим бойцам.

— Приказ ясен?

— Ясен! — ответили те.

— Ползите еще правее. И живо!

Поползли еще три комсомольца, впереди — Макеев. И Матросов с надеждой пристально смотрел теперь на него. Нет, не ошибся он в друзьях. Даже ворчун Макеев впереди других торопился выполнить приказ.

— Правее, тезка, правее, Макеша! — страстно шептал он.

Опять зловеще и яростно заревел дзот. И через несколько минут были сражены и эти бойцы.

Но дзот изрыгал огонь не утихая. Фашисты-пулеметчики неистовствовали. Неумолчно хлопали пули, всё чаще раскалывалось небо, и раскатисто ревел бор от взрывов снарядов.

Артюхов и Матросов переглянулись. Холодные росинки пота от напряжения проступили на лбу Артюхова. Он сдвинул на затылок сивую цигейковую ушанку, и от виска до виска лоб пересекли морщины, которых раньше Матросов не видел. Ноздри и запекшиеся губы комбата вздрагивали.

Матросов часто дышал, будто ему нехватало воздуха, глядел на командира и с трепетом ждал. Всё понятно: настала самая решительная минута боя.

Он сдвинул к переносью темные брови. Суровая решимость отразилась на его юном обветренном лице.

— Теперь мне разрешите, — сказал он тихо, но требовательно.

Артюхов взглянул на него без обычной командирской строгости. Лицо его даже посветлело от смущенной отеческой улыбки, и на миг он забыл про окружающий адский грохот. Он никогда и не думал, как трудно оторвать от себя этого шустрого паренька, который стал роднее сына.

«Что смотрите? — говорили чуть прищуренные ясные глаза Александра. — Опасно, да? Могу не встать, как и те шесть? Знаю. Но ждать больше нельзя, — и я иду. Иду — за жизнь друзей, за победу. . .»

И командир молча утвердительно кивнул ему:

«Иди, Сашок. Надо».

Матросов пополз еще правее, кустарниками, точно и не к дзоту. Плотно припадая к снегу, он ловко загребал его руками и быстро двигался вперед.

Старшина Кедров узнал Матросова в этой быстро скользящей по снегу фигуре в белом маскировочном халате и удивился:

«Куда, куда он один, если не может весь батальон?»

За движением Матросова с волнением следили десятки людей, лежавших под огнем и готовых броситься вперед при первой возможности. Он, ползущий по снегу,

теперь был их надеждой и силой. Только бы дополз! Доползет ли? Или упадет на снег, как те шесть?

Он и сам понимал и чувствовал: на него с надеждой смотрели все друзья, бойцы и командиры — его фронтовые учителя и судьи: и любимый офицер Артюхов, и старый сибиряк большевик Кедров, и комсорг Буграчев, и Воронов, и Дарбадаев. И еще смотрели на него все, кто в жизни чистой рукой коснулись его сердца, поверили в благородство его души: и днепровский пасечник дед Макар, и учительница Лидия Власьевна, и воспитатель Трофим Денисович, и синеглазая Лина.

Вот он уже прополз полпути. Фашисты не то не замечали его, не то нарочно подпускали поближе, и пулемет их бил куда-то влево.

Матросов мельком взглянул туда и чуть не вскрикнул от удивления, радости и тревоги: окровавленный Антощенко тоже полз к дзоту. По нему и бил пулемет. Движения Петра были неловки, он всё заваливался набок, падал лицом в снег, но, осыпаемый пулями, без каски и без автомата, упрямо полз вперед. Весь израненный, он, видно, и сам не верил, что доползет до дзота, но полз и полз на виду у врагов, презирая их огонь.

Какая сила, какие помыслы влекли вперед этого простого солдата? Он ведь, кажется, уже сделал всё, что мог. Что он еще может противопоставить встречному огню, израненный и безоружный?

И изумленное лицо Матросова посветлело: «Петро, Петруся, друже верный, ты идешь на гибель, чтобы отвлечь на себя огонь вражеского пулемета, чтоб мне и всем нам помочь в общем деле. Вот она — непобедимая сила дружбы, согретая любовью к народу, к Родине!»

Александр убыстрил движения. Еще метр, еще два. Но гитлеровцы повернули дуло пулемета к нему, и пули стали решетить снег то впереди него, то позади. Александр замер, выжидая. Вот-вот могут задеть проклятые. Если б была у него броня из крепчайшей стали, — напрямик пошел бы, а то у него такое же тело, как у тех друзей, что полегли на снегу.

Он стал хитрить. Когда струю огня отводили от него, он, чуть приподняв автомат, быстро полз вперед; когда пули ложились близко, он замирал, и его, видно, принимали за одного из убитых.

Жесткий комочек снега с задетой ветки упал за во-

ротник и неприятно холодил, но стряхнуть его нельзя. И на задубелые пальцы подышать некогда. Каждый миг, может, векам равен. Раньше он много думал, кем ему быть. В эту минуту ему хотелось быть быстрокрылой птицей, чтоб скорее налететь на врага.

Дзот уже близко — на бросок гранаты; и Александр, лежа на боку за кочками и кустиками можжевельника, вытащил гранаты и, став на колено, бросил их одну за другой. Они взорвались у самого дзота. Пулемет на минуту смолк, потом опять заработал. Но Александр был в выигрыше: пока рвались гранаты и длилась заминка врагов, он сделал несколько прыжков вперед и снова упал на снег. Он только на миг увидел уже недвижно лежащего на снегу, иссеченного пулями Антощенко с откинутой рукой, вспомнил его улыбку и слова: «Я буду по-комсомольски. . .»

И снова он полз, увертываясь от огня за низкими кустиками и кочками. Дзот был уже совсем близко.

Он опять вскочил на колено, вскинул автомат и ударил по амбразуре автоматной очередью.

В дзоте грянул взрыв, и густой дым хлынул из амбразуры (после узнали: взорвалась мина от попавших в нее пуль).

Александр поднялся во весь рост, вскинул над головой автомат и крикнул лежащим на снегу и нетерпеливо ждущим атаки бойцам:

— За Родину! За Сталина! Вперед! — И сам рванулся к дзоту.

Бойцы мгновенно вскочили и с криком тоже бросились вперед.

— Ура-а! Ура-а! — загремело над полем боя.

На поляне приподнялся на руках даже тяжело раненный Белевич. Он не мог ползти, но одухотворенное лицо и горящие глаза его были устремлены вперед.

Умолкший было пулемет в дзоте опять заработал и заставил бойцов снова залечь в снегу. Упал и Александр Матросов.

Пулемет отчаянно строчил теперь по всей поляне. Однако прежней уверенности и крепости в руках пулеметчика уже не было.

Александр лежал впереди сраженных своих товарищей так близко от дзота, что его обдавало пороховым дымом. Теперь он был особенно осмотрителен. Малейшее

К стр. 233

необдуманное движение могло погубить его, но и медлить опасно. Теперь он должен действовать только наверняка.

Под правой щекой таял колючий снег, и ледяной холодок проник в сердце. И билось оно так сильно, словно вздрагивал весь мир.

Трудно ему одному на этом открытом смертном поле. Почти на виду у врага он лежал тут, на этой заснеженной поляне, перед огнедышащей, как пасть чудовища, амбразурой дзота. Любая пуля теперь могла скосить его.

И пронеслись ясные и быстрые, как блеск молнии, мысли о том, что наполняло беспокойным, но счастливым смыслом всю его жизнь. Он вспомнил слова сказки: почему цветет полевой мак; вспомнил солнечный пахучий ветерок, что с просторов Родины дышал запахами медоносных трав, когда он и Лина стояли на холме и мечтали о счастье познавать и перестраивать мир.

Еще вспомнил он заветные слова вождя, что нужно быть готовым отдать за счастье человечества все свои силы, все свои способности, всю свою кровь, каплю за каплей...

Еще вспомнил он: сотни глаз с надеждой устремлены на него и ждут. Ждут города и села, ждет народ, чью правду и мудрость принес он сюда. Нельзя обмануть веру людей в комсомольца.

И торжествующей отвагой зажглось его сердце, неодолимой силой налились мышцы.

И страха уже не было. Он был готов, как и каждый из его друзей, лежащих на снегу, крушить врага чем только возможно, даже смертью своей.

Он выждал момент, когда фашист отвел от него пулемет. Но пулемет стал бить по залегшим нашим бойцам.

Александр вскочил, мгновенно обшарил свое боевое хозяйство, но у него уже не было ни одной гранаты и пуст был автоматный диск. Оставалась только неизмеримая душевная сила и святое желание — скорее и лучше исполнить свой воинский долг. Обветренное, почти детское лицо его озарила решимость. Теперь он был сильнее огня, сильнее страха смерти...

Стремительными прыжками побежал он несколько вправо, как бы мимо дзота. Потом, почти поровнявшись с ним, резко свернул влево к задымленной, черной

амбразуре и грудью своей упал на огнедышащий ствол пулемета.

Пулемет захлебнулся, умолк, и на миг стало так тихо, что слышно было, как шумят сосны да звенит еще в ушах утихший грохот боя.

Потом вскочили бойцы и, как по команде, хотя команда не успела последовать, бросились вперед, к дзоту. Теперь путь к нему был открыт.

И нечем стало дышать Александру Воронову. Он рванул ворот гимнастерки и на бегу закричал:

— Впере-е-од!

На всё поле боя раздавался голос Дарбадаева:

— За Матросова — вперед!

Все стремительно бежали к дзоту. Туда же полз, часто падая, и окровавленный Михась Белевич и тоже хрипел:

— Вперед! Вперед!

Через минуту в дзоте закончилась рукопашная схватка, и враги лежали на куче гильз, среди обломков оружия.

К дзоту подбежали капитан Буграчев и парторг роты старшина Кедров.

Александр Матросов лежал у амбразуры, и кровь его под солнцем алела на снегу ярко, как полевой мак, о котором когда-то говорил ему дед-пасечник.

Буграчев, сжав вздрагивающие губы, стал выполнять суровое воинское правило. Расстегнув белый маскировочный халат сраженного комсомольца, из левого бокового кармана гимнастерки он вынул то, что у самого сердца носил Александр Матросов, — комсомольский билет с именем Ленина. Буграчев, став на колено и расправив на полевой сумке комсомольский билет, под именем владельца его наискось написал:

«Лег на огневую точку противника и заглушил ее, проявил геройство».

Потом стали искать еще документы. Вытащили из кармана фотокарточки с изображением девушки со светлыми глазами и неизвестного паренька, может быть, брата Тимошки. Еще вынули из кармана телогрейки две ветки с распускающимися почками — тополевую и ракитовую. В походе Матросов всё хотел спросить старшину, почему они распускаются в такую раннюю пору.

Ветки попросил старшина. Нюхая пахучие тополевые

почки и гладя серебристый пушок ракитовых, глухо сказал:

— Жизнь любил Сашок...

И положил ветки под каску, чтоб не сломались.

Потом, поправив усы, он взял могучими руками тело Александра, как любимого сына, поднял лицом к небу и бережно положил его на плащ-палатку, разостланную на сугробе.

— Солдату, сынок, на снегу, как на лебяжьем пуху.

И, наглядевшись, осторожно закрыл огрубелыми пальцами его недвижные голубые, как небо, глаза.

Глава XXXII

МАТРОСОВЦЫ

Рота автоматчиков выстроилась, чтобы отдать воинские почести герою. Красноармейцы только что вышли из боя. Одежда их испачкана глиной, изодрана осколками, пулями и пропахла копотью и пороховым дымом. Еще слышен был гул боя, и земля под стоящими вздрагивала от взрывов. Но воспаленные суровые глаза людей неотрывно смотрели в эти последние секунды на просветленное тихой улыбкой лицо Александра Матросова. Выражение его лица будто говорило: «Ну вот, я сделал всё, что только смог».

Тяжело шагая, подошел Артюхов с подвязанной рукой и долго молча смотрел на застывшую, точно искусным резцом скульптора вырезанную на мраморе улыбку его связного. Смертельная рана Матросова была тщательно прикрыта. Своим сердцем заслонил Александр друзей от гибельного вражьего огня. И сдается, скажи этому, словно уснувшему, пареньку: «Есть важное, но опасное задание», — и он, неустрашимый, сразу проснется, блеснет быстрыми голубыми глазами:

«Мне разрешите. . .»

Командир тяжело дышал и всё не мог начать свое краткое прощальное слово.

Белоснежные редкие облака плыли над головой. На потоптанном снегу недавнего поля боя валялись обломки оружия. Воронки с вывороченным суглинком зияли, как раны. Но там, где не было боевых схваток, — сверканье снега под солнцем слепило глаза.

Наконец командир заговорил, и голос его был тверд, как в бою. Он говорил о великом подвиге, совершенном рядовым Александром Матросовым.

— Сегодня двадцать пятая годовщина нашей славной Красной Армии, единственной армии в мире, которая всегда боролась за освобождение человека, за его мирный созидательный труд и теперь в жестокой борьбе отстаивает нашу Родину, ее великие идеалы, мировую культуру от фашистского варварства... В день годовщины нашей армии товарищ Матросов принес ей самый драгоценный дар — свою жизнь. Грудью, сердцем своим закрыл он от врага друзей, всех нас.

Потом говорил седоусый парторг Кедров, и голос его дрожал:

— Погиб пламенный советский патриот — Матросов... Его вскормила, вспоила и научила наша партия, мать-Родина... Научила любить народ больше своей жизни.

Говорили его друзья — комсорг Брагин, Воронов, Дарбадаев, и каждый клялся, что будет таким же беззаветно преданным сыном своей Родины, как Саша Матросов, и так же, как он, будет бить врага бесстрашно, по-комсомольски, по-матросовски.

На опаленной щеке сандружинницы дрожала слеза, но Валя стояла в строю с гордо поднятой головой.

Недолго говорили бойцы у могилы: надо в бой.

Вся рота опустилась на колени, прощаясь с героем.

Потом троекратно прогремели ружейные залпы.

Бойцы засыпали могильный холмик землей и чистейшим снегом и снова пошли в бой.

Только один боец вернулся в Большой Ломоватый бор. Посыльный нес в политотдел донесение о подвиге рядового Александра Матросова.

А ночью полевой телеграф, наряду с боевыми оперативными сводками, сообщил об этом событии штабам корпуса, армии фронта.

До сердца необъятной страны, до Кремля долетела скорбная и гордая весть о подвиге рядового советского воина. Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил Александру Матросову звание Героя Советского Союза.

Подразделение, где служил Матросов, стало гвардейским полком.

На весь Советский Союз прозвучали слова приказа товарища Сталина.

ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
№ 269

8 сентября 1943 г. г. Москва

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 Гвардейского стрелкового полка 56 Гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов, в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Чернушки, прорвавшись к вражескому ДЗОТ'у, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. гвардии рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова приказываю:

1. 254 Гвардейскому стрелковому полку 56 Гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование:

«254 Гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова».

2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова зачислить навечно в списки первой роты 254 Гвардейского полка имени Александра Матросова.

Народный Комиссар Обороны
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН

Гвардейцы-матросовцы поклялись перед новым алым шелковым знаменем, на котором золотыми буквами вы-

шито имя их однополчанина, воевать по-матросовски. И неоднократно в боях они доказали это на деле.

Жаркий бой шел за высоту, господствующую над местностью. Три раза отважные гвардейцы поднимались на штурм высоты, и каждый раз враг прижимал их к земле огнем. Тогда встал друг Матросова, комсорг полка Александр Воронов и крикнул:

— Товарищи, если кому станет трудно, если кому станет страшно, вспомните Матросова. За мной, друзья, вперед!

И все, как один, поднялись гвардейцы на штурм и сбили врагов с высоты по-матросовски.

Фашистский танк шел прямо на пулеметчика матросовского полка Павлова. Вражеские солдаты бежали за танком и сидели на нем. Павлов пулями косил бегущих врагов и, как ветром, сдувал их с танка. Как гора, танк надвигался на матросовца, но он, не дрогнув,

до последнего вздоха всё бил и бил из пулемета — по-матросовски.

Бои шли за Пушкинский заповедник на Псковщине. Село Михайловское, Тригорское, парки — здесь каждый куст и каждая пядь земли освящены памятью великого поэта. Вот уже оказалась прорванной оборона фашистов, наступление ширилось. Но на одном участке с высоты упорно бил немецкий пулемет и не давал бойцам продвигаться. Тогда к вражескому пулемету поспешил гвардеец Трошин. Ловко увиливая от пуль, падая и поднимаясь, он подбежал на двадцать метров к вражеской огневой точке и гранатой взорвал ее.

— За Матросовым, вперед! — крикнул Трошин.

Гвардейцы рванулись вперед. Смахнув рукавом пот, заливающий глаза, с ними дальше бежал и Трошин, уничтожая врагов по-матросовски.

Гвардеец Дубницкий с несколькими бойцами пробрался в тыл противника и занял важную высоту, парализовав вражескую оборону на этом участке. Четыре дня и ночи пытались фашисты взять эту высоту обратно и не могли. Наконец в живых там остался один только Дубницкий. И когда была установлена с высотой радиосвязь, командир стал благодарить защитников:

— Спасибо, гвардейцы! Держитесь, шлю вам сейчас подмогу.

— Благодарю за помощь, — ответил Дубницкий. — Но мы, комсомольцы, держимся крепко.

— А сколько вас?

— Матросов да я.

★

Уфимской детской трудовой воспитательной колонии присвоено имя ее бывшего воспитанника — Александра Матросова. И в альбом героев войны Тимофей Щукин поместил портрет своего названого братишки. Все питомцы колонии поклялись учиться, работать и, когда придется, воевать по-матросовски.

В цехах заводов и фабрик, на колхозных полях необъятной страны комсомольцы в труде и борьбе берут пример с Матросова.

Под знаменем с его именем гвардейцы-матросовцы били врага под Ельней, Смоленском, Оршей,

освобождали от гитлеровцев Белоруссию, Латвию. На руках неся пушки, они прошли считавшиеся непроходимыми болота и топи, лесные чащобы Лубанской низменности, взяли Ригу, сбросили фашистов в море.

В день победы, в день всенародного ликования, по Красной площади, перед древними стенами Кремля, перед вождем, с чьим именем армии шли к победе, торжественно пронесли однополчане свое победоносное матросовское гордое знамя.

★

Кремлевские куранты отзванивают вечерний час. И в это время каждый день во всех частях и подразделениях Советской Армии люди выстраиваются на поверку.

По сигналу горниста «повестка» выстраивается на поверку и первая матросовская рота. Вот солдаты замерли в строю. Старшина называет первое имя в списках полка:

— Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.

Тихо. Так тихо, что слышно дыхание бойцов. И в торжественной тишине звучит твердый голос правофлангового:

— Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины.

Так вечно будут вспоминать в полку благородный подвиг рядового Матросова. Да, его нет на поверке, но в светлых помыслах, в сердце каждого солдата живет его бессмертный образ.

О нем знают в народе стар и мал. Художники пишут его портреты, поэты воспевают его в своих стихах. Легенды и песни про него слагает народ.

★

Яркий летний день. Слепящие лучи солнца заливают мирные поля и леса. Дремотно шумит под солнцем Большой Ломоватый бор. Воздух напоен запахами трав, полевых цветов и сосновой смолы. Лесными тропами и дорогами от разных городов и сел, далеких и близких,

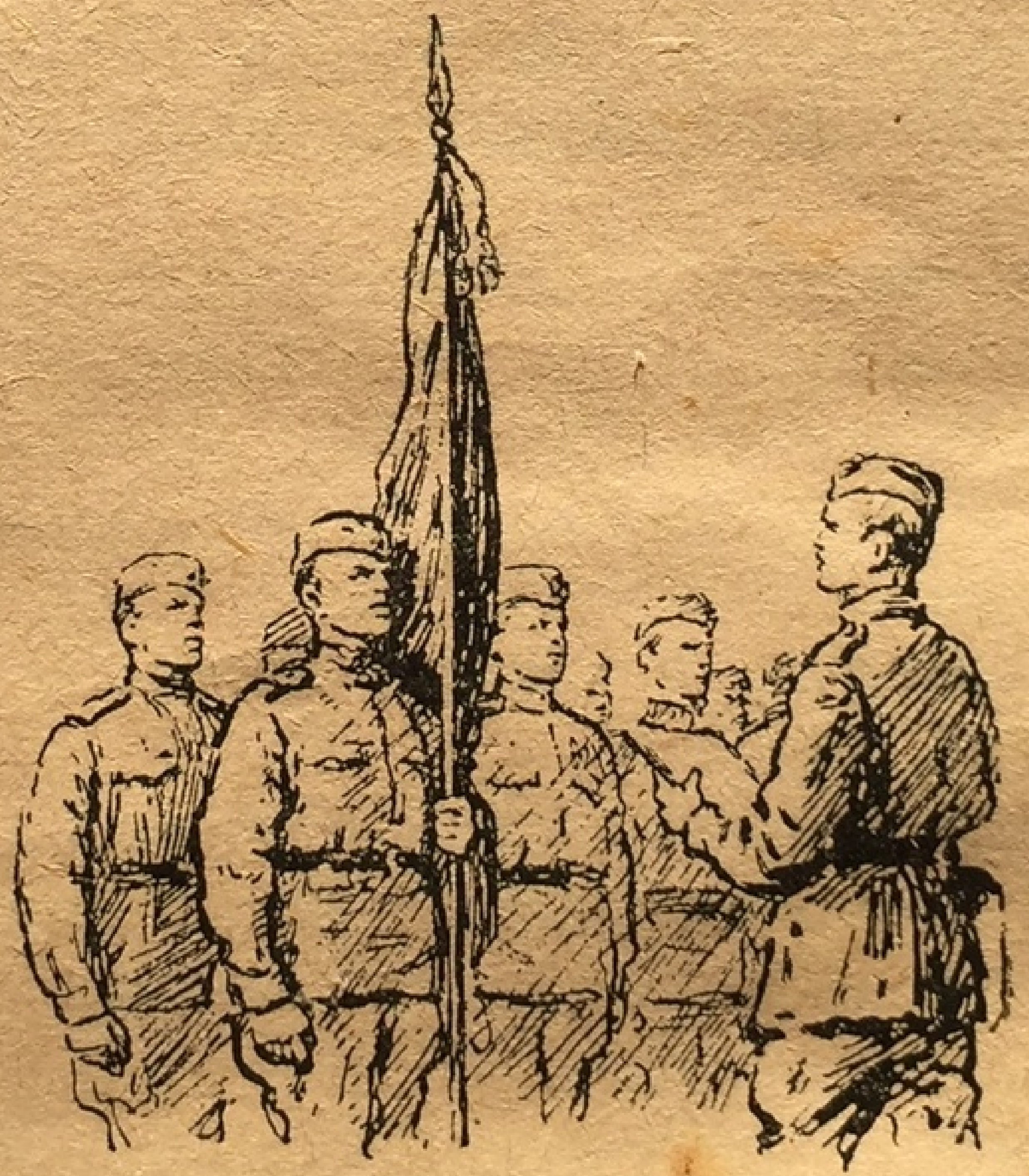
идут к деревне Чернушки отряды молодежи, идут и поют песни о голубоглазом пареньке, рожденном днепровскими просторами.

И друзей его, старых и новых,
Враг не сможет упорство сломить.
Мы в любую минуту готовы
Его подвиг святой повторить.

Песня затихает. Девушки и парни в праздничных нарядах подходят к зеленому холмику с красной звездой над алым обелиском и кладут на него цветы и венки. Много цветов кладут они, и цветочный холмик растет, растет. И каждый юноша, и каждая девушка дают здесь нерушимое обещание — в труде и в бою быть такими же, каким был Саша Матросов.

Шумит лес. И плывет под солнцем вечно молодая песня.

1946—1949—1951 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Алмазная гора 5
Глава II. Почему цветет мак 9
Глава III. Днепровские огни 18
Глава IV. Крутые повороты 22
Глава V. Новая семья 27
Глава VI. Пути к звездам 43
Глава VII. «Трудно, но интересно» 54
Глава VIII. «Только вперед!» 66
Глава IX. Урок истории 70
Глава X. Война 77
Глава XI. Учительница Лидия Власьевна . . . 84
Глава XII. Дружба 88
Глава XIII. Закалка 92
Глава XIV. Лина 101
Глава XV. Родина зовет 111
Глава XVI. Военно-пехотное училище 114
Глава XVII. На фронт 123
Глава XVIII. Фили 130
Глава XIX. Нужны самые смелые 135
Глава XX. Фронтовые будни 149
Глава XXI. Комсомольцы 157
Глава XXII. На марше 162
Глава XXIII. Беженцы 171
Глава XXIV. Кто настоящий друг 177
Глава XXV. Письма 188
Глава XXVI. В разведке 194
Глава XXVII. Большой Ломоватый бор 201
Глава XXVIII. Слово-клятва 206
Глава XXIX. Бой за Черную рощу 212
Глава XXX. Спасти комбата 218
Глава XXXI. За Родину! За Сталина! 223
Глава XXXII. Матросовцы 236

Рисунки Ю. Непринцева

Оформление Б. Воронецкого

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ

Отзывы и пожелания издательству направляйте по адресу: Ленинград, набережная Кутузова, 6, Дом детской книги Детгиза

МЕТОД. КАБИНЕТ
343-й школы БОНО
гор. МОСКВЫ

Для семилетней школы

Ответственный редактор *Б. Летов*

Художник-редактор *Ю. Киселев.* Технический редактор *Т. Лейкина.* Корректоры *Л. Дрожжина и А Назарова* $84 \times 108^1/_{32}$ Бум. л. $3^3/_{16}$ + 6 вклеек Печ. л. 13,14 Авт. л. 11,12. Уч.-изд. л. 12,31. Тираж 200 000 (1—100 000). М 00135 Подписано к печати 27|II 1951 г. Цена 4 р. 20 к Заказ 609 2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская 7.

4 р 20 к